

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 7

1984



Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ
О НЕСБЫВШЕЙСЯ
ЛЮБВИ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 7

Анатолий ИВАНОВ

**ПОВЕСТЬ
О НЕСБЫВШЕЙСЯ ЛЮБВИ**

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1984

Анатолий ИВАНОВ

Анатолий Степанович Иванов родился в 1928 году в селе Шемонаихе (Восточный Казахстан). Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени Кирова, с 1950 года работал в газете «Прииртышская правда» (гор. Семипалатинск). После службы в армии на Дальнем Востоке много лет жил и работал в Сибири.

Первый рассказ Анатолия Иванова «Дождь» был опубликован в журнале «Крестьянка» в 1954 году. Затем вышла первая книга новелл «Алкины песни», в 1958 году — роман «Повитель» и спустя еще пять лет — роман «Тени исчезают в полдень». В 1970 году в журнале «Москва», а затем отдельным изданием вышел роман «Вечный зов». В 1979 году в журнале «Огонек» была опубликована повесть «Вражда», а в 1982 году — «Повесть о несбывшейся любви».

Валентин Михайлович Чернышов, известный на всю страну писатель, давным-давно удостоенный всех возможных почетных званий, государственных наград и премий, стоял на высоком яру. Сверху отчетливо различалось высохшее русло небольшой речки, засыпанное белесым песком, мелкой галькой и во многих местах поросшее травой. Стеблистая, почти без листьев, трава росла пучками, берега исчезнувшей речки были покрыты тоже всякого рода чахлой растительностью, поближе к ярам торчали жиденькие кустарники.

Рядом с Чернышовым стоял Сапожников Леонид Гаврилович, его друг и товарищ с детских лет, учитель и директор местной школы. Ни слова не сказав ему, Чернышов повернулся и пошел в сторону крутого спуска к бывшей речке. Несмотря на то, что спуск был каменист и тверд, словно кость, узкая тропинка тоже во многих местах затравлена, ибо люди ею почти не пользовались.

Исчезнувшая речка звалась Белояркой, потому что текла когда-то меж крутых яров с выпиравшими из земли известняковыми глыбами, по ней и возникшую в незапамятные времена деревеньку наименовали Белояркой, и весь район назывался Белоярским. Это была родина Валентина Михайловича Чернышова, здесь он родился и, как говорится, крестился, тут окончил среднюю школу, а потом, в голодном сорок шестом, уехал на учебу в Новосибирск. Теперь же, где-то еще с середины пятидесятых, живет в Москве, но почти каждый год приезжает в родную Белоярку, ставшую после войны большим районным селом.

Еще в прошлом году умирающая речка немного дышала, по камешкам, хоть и едва-едва, сочилась вода, а нынче русло высохло совершенно. Сбежав вниз, Чернышов встал посреди него, топчась на песке, поворачивался то в одну, то в другую сторону, будто все еще удивляясь, что с верховьев вода больше не течет, что последняя влага скатилась вниз без остатка.

Сапожников тоже сошел вниз, и, когда остановился возле Чернышова, тот воскликнул:

— Чудовищно! Мы сами себе роем могилу.

Сапожников, не однажды бывший свидетелем различных эмоциональных состояний своего друга детских лет, только грустновато усмехнулся.

— Нынче с самой середины лета дождей не было, — тихо сказал он. — Вот и высохли последние капли.

— При чем тут — были дожди или не было дождей? Там, где

шумели когда-то древние цивилизации, ныне простираются пустыни.

— Ну, не везде так, обобщать не надо, — сказал Сапожников. — Но планета наша, видимо, сохнет, воды становится все меньше.

— Видимо... Без всяких видимо, — опять начал горячиться Чернышов. — Ученые и писатели давно бьют тревогу, что варварски сводятся леса, уничтожается травяной покров, нарушается структура почв, бездумно проводятся мелиоративные работы. Поговаривают даже о возможности переброски части сибирских вод на юг. Это может вызвать какие-нибудь необратимые природные процессы... для людей, для земли...

Валентин Михайлович, несмотря на шестой десяток, юношески стройный и подтянутый, как-то сразу вдруг отяжелел, еще потоптавшись на песке, медленно опустился на бережок сухого русла.

Стоял на земле конец сентября, золотое время, если погода теплая и солнечная. Погода как раз и была такой. Небо, то ли оттого, что уже утратило густую голубизну, или по той причине, что поредели в нем птицы, стало еще выше и безбрежнее. Все просторнее становилось и на земле, потихоньку сгорали на ней леса и перелески. Деревья, росшие отдельно, тоже сыпали вниз янтарные угли, эти угольки медленно гасли, а сверху подсыпались и подсыпались свеженькие.

Чернышов любил и понимал природу. Из всех времен года он, как Пушкин, больше любил осень, из всех состояний земли он лучше всего понимал и умел выразить в повестях и рассказах вот эту ее высокую осеннюю целомудренность, когда она, очищаясь от пыльных летних бурь, отдыхая от буйных огненных гроз, готовилась к чему-то огромному и таинственному, как сон, как небытие. Таких теплых и светлых сентябрьских дней в иной год и не бывает, тогда Чернышов чувствует себя усталым и будто обкраденным, душа его стонет от обиды и надолго закрывается для восприятия тех главных, тех единственных красок, звуков, запахов, которые ему надо услышать, чтобы отразить их потом в своих произведениях. В такие времена он бывает хмур, раздражен, избегает друзей, говорит грубости. В душе он был музыкантом и, пытаясь победить такое свое состояние, включал магнитофон, без конца слушал обожаемых им Бетховена, Глюка, Вебера, Гайдна, Генделя, Россини. Но великая музыка их вдруг начинала казаться ему примитивной, нисколько не выразительной, а главное — чужой, и в памяти сами собой всплывали все те саркастические слова, которыми эти гиганты награждали друг друга: Россини говорил, что музыка Вебера вызывает у него колики, Гайдн называл Бетховена всего лишь великим пианистом, а Гендель всеерьез убеждал друзей, что его повар лучший музыкант, чем Глюк... И Чернышову на время казалось, что и Россини, и Гайдн, и Гендель,

увы, правы. Валентин Михайлович слушал, наконец, самого Мусоргского, которого ставил на самую высшую точку мировой музыкальной пирамиды, а у Мусоргского — величайшее из величайших, по его мнению, творений — «Рассвет над Москвой-рекой» из так и не законченной им «Хованщины». Но и здесь слышал нагромождения беспорядочных тягучих звуков, унылый и бессмысленный плач флейт и скрипок.

Но зато, если сентябрь был солнечный и теплый, в душе его открывалась не одна дверца, а все, сколько там их ни было, он весь превращался в какую-то ненасытную губку, в него обвалом лилась и лилась гремевшая на тысячи мелодий музыка всего этого бесконечного и непонятного бытия.

А сейчас ни одна дверца не открывалась, хотя и было много теплого осеннего солнца, никаких мелодий он не слышал. Как бы ни велики были любимые им композиторы, их музыка была ничто в сравнении со звуками обыкновенного ручья. Речка Белоярка как раз и была большим ручьем с неширокими перекатами, с небольшими, хотя и довольно глубокими омутками и заводями. В весенние паводки она гремела и ревела, но этого шума Чернышов не любил. Зато летом и особенно осенью, когда воздух чист и легкий до того, что малейший шорох разносится на сотни шагов, Белоярка нежно позванивала и на сотни мелодий пела бесконечную и в каждое мгновение всегда новую свою песню.

«Бесконечную... — усмехнулся Чернышов. — Веками текла она по земле, поила людей и зверей. И вдруг стала слабеть, мелеть с каждым годом — и вот исчезла. А как написать об этом? Как создать прозаическую поэму о гибели целой речки?»

Чернышов подумал, что композитору сделать это было бы проще. Вот у Мусоргского по мере наступления рассвета Москва-река звенит и поет все чище, все радостнее и торжественнее, во всяком случае, он, Чернышов, слышит в музыке все нарастающий, все более певучий звон прозрачной и текущей речной воды. Здесь же надо делать все наоборот, наоборот... И когда затихнет последний всплеск ручья, когда мучительно умрет песня живой воды, каждый инструмент оркестра должен исторгнуть человеческий стон, в музыке должна прозвучать невыразимая никакими словами человеческая боль по поводу этой уже никогда не восстановимой потери, которая обездолила не только живущих на земле сейчас, но все последующие человеческие поколения...

И Валентин Михайлович Чернышов, как бывало уже не раз и не десять раз, пожалел, что не стал профессиональным музыкантом, ему

всегда казалось, что он мог бы стать выдающимся композитором и сделать в музыке намного больше, чем сделал в литературе.

Да, «чем сделал в литературе...». Эта мысленная фраза задержалась в сознании, причинив щемящую боль в сердце. И раньше, давненько уже, подобные мысли приходили ему в голову, вызывали какие-то неприятные и неосознанные ощущения, портили настроение, но сегодня боль в сердце была настоящей и острой, и Чернышов достал таблетку валидола.

— Тебе плохо? — тотчас вскинул брови Сапожников.

— Да нет... Это я для профилактики, — улыбнулся Чернышов, но как-то мучительно, через силу, и снова стал угрюмым.

Помолчав так некоторое время, он вдруг произнес:

— А я ведь знаю, Леонид, ты не высоко ставишь мои литературные творения.

— Вот это... сказал! — растерялся Сапожников, уронил горький смехок. — Тебя знает вся страна, твои книги издаются за рубежом...

«Меня знает вся страна, мои книги издаются за рубежом, — уныло думал Чернышов. — Это верно. Но это еще не значит, друг мой Ленька, что их высоко ценят. И ты вот не стал сейчас убеждать меня в этом. Ты лишь сказал очевидное. И не ты первый мне это сказал. А кто же? Да, действительно, кто же? Или мне лишь кажется, что об этом кто-то говорил раньше?»

Но вопрос этот, возникнув, исчез, Чернышов стал думать, что Ленька Сапог, как он называл его в юности, да и теперь частенько так именует, никогда не высказывал восторгов по поводу его произведений. На присланные ему и его жене Марии Ивановне книги с автографами он каждый раз откликнулся благодарностью, при встречах поздравлял с выходом новых повестей и рассказов, прибавляя при этом что-нибудь шутовское, вроде — даешь, мол, прикурить этим самым радателям дрыхлых деревень с их курными избами. И по таким, даже самым общим, фразам чувствовалось, что все его книги Сапожников читал. «Ну, а все-таки, что тебе нравится в моих вещах, а что нет?» — спросил однажды Чернышов напрямик. И Сапожников уклончиво ответил: «Видишь ли, я физик по образованию, в литературе разбираюсь плохо. О книгах твоих спорят, это, наверное, хорошо». Но, увы, о его рассказах и повестях не спорили. Лишь о первых его произведениях в газетах и журналах появлялись разноречивые мнения, но это было еще до переезда в Москву. Здесь он встретился с Сеней Куприком, работавшим в одном захудалом литературном журнальчике. Встретился в ресторане Дома литераторов, куда робко зашел пообедать. Он не доковырял еще какой-

то салат, как к столу подошел невысокий, полноватый, но юркий человек с темными острыми глазами и огромным пустым портфелем. «Если не ошибаюсь, В. Чернышов?» — «Да...» — несмело сознался Чернышов. «Узнал вас по портрету в книге. Я читал вашу последнюю удивительную повесть «Ненастье». — «Так уж и удивительную?» Хотя он и возразил таким образом юркому человеку, все равно приятно было слышать похвалу в адрес своей повести, которая в прессе получила разноречивую оценку, и в общем-то, к обиде Чернышова, не очень лестную. И этот человек с острыми глазами, будто почувствовав обиду Чернышова, проговорил: «Читал я также критику на вашу повесть и с большей ее частью не согласен». — «Ну, критики — это такой народ... Им не укажешь». — «Да? — строго не то спросил, не то возразил человек с пустым портфелем. — Без указаний жизнь невозможна. Позвольте представиться — Семен Куприк, тоже в некотором роде критик». Сказав это, в некотором роде критик замолчал. Стоял и сверлил Чернышова колючими зрачками. И как-то само собой у Чернышова сказалось: «Если располагаете временем, присаживайтесь». — «Временем располагаю», — сказал Куприк. — А деньгами, извините, нет. Я постоянно беден, как церковная крыса». Произнес это он с такой интонацией, что Чернышову стало неловко и за свое приглашение и за то, что у этого полнеющего, с виду благополучного и сытого человека нет денег. «Да что вы, раз я приглашаю... У меня есть», — сказал Чернышов, встал и пододвинул ему стул...

Часа через два, пьяненькие, они ввалились в квартиру Куприка, грязную, давно не ремонтировавшуюся, расположенную где-то в запутанных переулках старой Москвы. «Живу, брат, один как перст, убирать некому, поэтому того... немного неуютно у меня», — говорил Куприк, опоражнивая портфель от коньячных бутылок и свертков.

«А я, знаете, Валя, люблю помогать молодым талантам. Кроме того, вы нравитесь мне как человек. И я не позволю, чтобы вас критиковали теперь в печати. Не позволю...»

И с тех пор его произведения не критиковали, о его рассказах и повестях не спорили. Их просто хвалили, сперва осторожно и сдержанно, а потом все восторженнее...

2

— Что наша Белоярка?! Мелеют Волга, Обь, Енисей, Лена... Мелеет Дон. Недавно я был в верховьях Дона, в сельце Монастырщина, там, где шестьсот лет назад войска великого князя Дмитрия Ивановича переправлялись через реку, чтобы вступить в битву

с ордами Мамая. Мария Ивановна, как историк, знает, что тогда через Дон были построены мосты, а после переправы русских войск, чтобы ликвидировать возможность отступления, мосты были сожжены. А сейчас Дон в том месте — лошади по колено, ширина его, ну, метров с пятнадцать. А то и меньше.

— Неужели? — не поверила Мария Ивановна, жена Сапожникова.

— Именно! А речки Нижний Дубик, куда упиралось правое крыло русских войск, вообще нету. Давно высохла, русло ее затравенело, там деревенские козы да гуси пасутся.

— А что тебя занесло туда? — спросил Сапожников. — Никак о Куликовской битве что-то пишешь?

— Пишешь... — вздохнул невесело Чернышов, отодвинул выпитую чайную чашку. — Спасибо. Пойду к себе в гостиницу.

— Мы с Машей тебя проводим, — сказал Сапожников.

Леонид Гаврилович и Мария Ивановна жили в стандартной двухкомнатной квартире неподалеку от школы, их дети — дочь и сын — выросли, дочь была замужем за агрономом местного колхоза, сын заканчивал тот же педагогический институт, в котором учились в свое время и Чернышов, и Сапожников, и Мария Ивановна, бывшая тогда Машей Дмитренко.

Родители Маши были выходцами с Украины, отец, как и у Чернышова, погиб в конце сорок второго под Сталинградом, а через год сгорел худенький домишко, в котором она жила с матерью. Несчастье случилось поздним зимним вечером, часов в десять. Маша сидела за обеденным столом и готовила уроки, перед ней стояла старинная, расписного фарфора, лампа, заправленная бензином с солью. Керосина не было, мать за ведро картошки выменяла у кого-то литра четыре бензина, его крепко посолили, ибо считалось, что так пользоваться им более безопасно. Соленый бензин горел в лампе с громким треском, пламя сильно вздрагивало, по комнате метались темные всполохи. Но все же это было освещение, только вот лампа при пользовании бензином почему-то сильно раскалялась, мать то и дело говорила: «Долго-то не жги, лопнет, язви ее, так заживо спалимся!». Опасения матери были не напрасны, лампа вдруг разлетелась с треском, на столе вспух огненный шар, отшвырнул девушку прочь, обрызгав ее и деревянные стены горящим бензином. Мать, лежавшая уже в постели, сорвалась с кровати, подскочила к ведру с водой, стоящему у печки, окатила корчившуюся в огне дочь.

Дом Дмитренков стоял рядом с чернышовским. Когда Валентин выскочил на улицу, у горящего дома метались люди с ведрами, бегали метров за двести к речке, черпали из проруби воду, выплескивали ее на

взявшиеся сплошным пламенем стены. Возле дома стояла на снегу завернутая в ватное одеяло Маша Дмитренко, ее мать сидела рядом на стуле, обе молча и мрачно глядели, как погибает в ненасытном пламени их сиротское жилье.

Это одеяло, этот стул только и были вынесены из огня. Да из горящего хлева спасли корову. Когда огонь взметнулся над поветями, мать Валентина закричала: «Валька, корова-то вон орет! Отмахни ворота, живо, скорейча!» Валентин бросился к хлеву, дощатые ворота были заложены изнутри на деревянный засов. Тогда Валентин кинулся домой, схватил топор, снова подбежал к запертым воротам, за которыми обезумело металась корова, несколькими ударами прорубил дыру в ветхих от времени дверных досках, просунул туда руку, отодвинул засов. Шерсть на корове уже дымилась, животное ринулось из хлева, едва не стоптав Валентина.

Мать увела погорельцев к себе в дом, да так Дмитренки у них и остались. У Чернышовых главным богатством тоже была корова, поэтому последние полтора военных года, самые суровые и голодные, они прожили хоть и в тесноте, но более или менее сытно.

Маша Дмитренко была девчонкой несмелой, застенчивой, а после пожара стала какой-то пугливой. Большею частью она таилась от всех по укромным уголкам, готовилась там к урокам, читала книжки или просто сидела и задумчиво смотрела куда-то перед собой. Руки она по привычке прятала под фартук или под платок. Буквально за секунду до того зловещего мгновения, как лопнуть лампе с бензином, она положила обе ладони на лицо и стала тереть слипающиеся от усталости глаза. Этим она спасла себе лицо и зрение, но тыльные стороны ладоней, опаленные пламенем, взялись сплошными волдырями. «Господи! — без конца повторяла ее мать, смазывая руки дочери каким-то жиром. — Да ведь есть ты, есть на небушке! Спасибо тебе от нас, горемычных. Каково бы девке без глаз-то... А язвы на руках заживут, доченька, и опаленные волосы отрастут».

Наполовину сожженные волосы отросли, и язвы на руках зажили, только от солнечных лучей тыльные стороны ладоней каждую весну покрывались белесыми пятнами. Поэтому Маша и привыкла прятать руки от солнца, а заодно и от людей.

Перед концом войны, зимой сорок пятого, учась еще в восьмом классе, Маша вдруг обнаружила, что она красива и что сидящий на задней парте Ленька Сапожников начал оказывать ей различные знаки внимания — то на уроке пульнет бумажным катышком в нее, то на перемене плечом ненароком заденет... А как-то сказал: «Слушай, попроси у меня чего-нибудь». — «Зачем?» — удивилась она. — «Ну, так! Ты попроси, а я сделаю для тебя». — «Ну, ладно... — и, поковыряв носком валенка снег, проговорила: — Достань мне книжку одну

почитать, «Три мушкетера» называется». — «Сделаю», — сказал он. — «Ой, не хвались! Где ты ее достанешь?!» — «Не знаю. Буду искать».

В те суровые военные годы художественной литературы было мало, а о «Трех мушкетерах» просто ходили легенды — не то у кого-то в деревне есть эта книга, да владелец держит ее под замком, не то составлена на книгу такая очередь желающих почитать, что последним придется ждать до глубокой старости. Поэтому Маша не поверила Ленькиному обещанию, а со временем забыла даже об этом разговоре.

Сапожников жил с родителями на той же улице, что и Чернышovy с Дмитренками, только в дальнем ее конце, на самом краю деревни. С Валькой Чернышовым, учившимся на класс вперед, они дружили с давних пор, и с давних пор было установлено, что Ленька, идя в школу, громким свистом вызывает из дома своего дружка. К этому сигналу привыкла и Маша, она хватала облезлый портфель, выбегала одновременно с Валькой на свист, и так втроем из года в год — и когда Маша жила еще в своем доме, и после пожара — они и ходили в школу.

Но однажды многолетний, установленный когда-то сам собою порядок нарушился. На привычный сигнал Валентин вышел в тот день чуть попозже Маши Дмитренко. Стоял конец апреля, день был солнечный и веселый, отовсюду уже лезла зелень. Когда появился Валентин, Сапожников Ленька передавал Маше какую-то толстую книжку без обложки, с разлохмаченными страницами. «Ой, спасибо, Лень, я прочитаю быстро, нисколько не задержу», — говорила радостно Маша.

Валентин подошел хмурый, молча взял из рук Маши книгу. «Три мушкетера» это, — радостно сказала она. — Полгода мне ее Леня доставал». — «Видю, — сказал Валентин. — То-то побежала ты... Я еще подумал: как бы не запнулась». — «Чего?» — произнесла она, чувствуя, как уходит из души только что возникшая там радость. — «Ничего. Четвертый, гляжу, мушкетер объявился», — ответил Валентин, отдал Маше книгу, повернулся и пошел.

Он шел вдоль улицы, не оглядываясь, Леонид и Маша растерянно топтались на месте, у Маши глаза переполнились слезами. Она чувствовала, что Валентин чем-то оскорбил и ее и Леньку. И надо было ему соваться именно сейчас с этой книгой! «Возьми ты ее назад, не надо мне!» И она сунула растрепанную книгу в руки Сапожникова. Леонид взял ее молча, только в глазах его заплескалась боль. «И еще я, еще я, дура несусветная, обидела вот Леньку!» — мелькнуло в ней. Сознанием она понимала это, но остановиться не могла, прокричала ему в лицо: «Отвяжитесь вы от меня! И ты и он... Отвяжитесь!» И, зарывав, убежала обратно в дом.

А Ленька, постояв немного в одиночестве, двинулся прочь. Но

пошел не в школу, не домой, а так, неизвестно куда. Свернул в ближайший переулок, вышел на соседнюю улицу, пошagal на окраину деревни, неся в одной руке сумку с учебниками, а в другой злополучных «Трех мушкетеров».

Это была первая размолвка между ними тремя. И сейчас Мария Ивановна, идя рядом с мужем и Чернышовым вдоль улицы, на которой прожила всю жизнь, вдруг вспомнила все это. Нет, никаких чувств, кроме дружеских, меж Марией Ивановной и Чернышовым давным-давно нет, все затушило и затерло безжалостное, а может и мудрое, время, она нашла единственное свое счастье с Леонидом Сапожниковым. «А вот Чернышов Валя,— с грустью подумала она,— не нашел его со своей Ниночкой, Ниной Васильевной, и он, несмотря на свою громкую славу и благоустроенную жизнь там, в Москве, в сущности, никем не любимый и несчастный человек».

Жизнь с момента их первой размолвки протекла длинная, того деревянного дома Чернышовых давно не было. В первые же послевоенные годы рядом с домом была построена новая двухэтажная школа из красного кирпича, в которой и директорствовал сейчас Сапожников, обветшалое бывшее жилье Чернышовых снесли, разбив на месте усадьбы школьную спортивную площадку. Вдоль улицы, на которую выходили когда-то два окна и крыльцо чернышовского дома, тянулась сейчас высокая железная сетка, ограждающая школьный спортивный комплекс. Поравнявшись с этой сеткой, Чернышов остановился.

Был вечер, солнце где-то опускалось за горизонт, окрашивая последним неярким светом и без того желтые верхушки тополей. В дальнем углу спортивной площадки ребятишки гоняли мяч, громко кричали. Чернышов некоторое время слушал эти крики, потом произнес два слова:

— Да, время...

И сожаление и грусть прозвучали в его голосе.

— Если бы белоярцы знали, что ты станешь таким знаменитым, ваш дом сохранили бы под твой музей, который ютится сейчас при районной библиотеке,— тихо произнес Сапожников.

— Оставь ты... Разве я об этом?

— Да я понимаю, что не об этом. И все-таки досадно, что снесли.

«Досадно...» — отметил про себя Чернышов. — Ему не жалко, а всего лишь досадно...»

Ребятишки все покрикивали на спортивной площадке, желтые, облитые вечерним солнцем деревья негромко шумели под слабым ветерком, то и дело роняли сухие и легкие листья. От всего этого Чернышову стало еще тоскливее, и он спросил:

— Не чувствуете, как в самом воздухе разливается тоска?

Сапожников промолчал, а Мария Ивановна сказала с улыбкой:

— Вы, писатели, устроены по-особому. А мы — учителя. Сентябрь для нас месяц радостный — начало учебного года, начало новой большой работы.

— Ну, как по-особому... — возразил Чернышов. — И я всегда в осенних красках слышал какую-то... вдохновляющую, что ли, музыку. Я знал, что в той точке, где держался опавший лист, весной возникнет новая веточка. Возникнет, затрепещет под солнцем новыми листочками...

— А сейчас что же, забыл об этом? — спросил Сапожников.

— Не забыл, но это меня почему-то уже не радует. Что-то со мной происходит.

У входа в гостиницу стали прощаться.

— Раньше, когда на меня находила тоска, я пил водку. Но сейчас и это не помогает. — Помедлив, Чернышов невесело усмехнулся.

— Ты просто устал, — сказал опять Сапожников.

— Ты так думаешь? — уныло спросил Чернышов.

— Конечно. Отдохнешь — и все пройдет.

— Да, возможно, возможно, — проговорил Чернышов, глядя на Марию Ивановну. — Значит, вы, учителя, устроены по-особому?

— Ну что ты... — смутилась Мария Ивановна, стареющая пятидесятилетняя женщина. — Я сказала, что это вы...

— А что там, Борисенковы пруды тоже высохли? — обернулся Чернышов к Сапожникову.

— Да так... лужицы еще плещутся, — ответил Леонид Гаврилович.

— И рыба есть?

— Кой-где по ямкам даже щуки пока живут.

— Завтра воскресенье. Может, махнем туда... вспомним детство, а? Я машину в райкоме попрошу. Всякие удочки, как я знаю, у тебя есть. Отдохнем. Машенька, тыпустишь нас?! — снова обернулся Чернышов к Марии Ивановне.

Жена Сапожникова подняла голову, в ее больших сероватых глазах мелькнуло беспокойство.

— Да уж отдохнете... За вами же районное начальство увяжется с полным багажником бутылок да свертков. А у Лени сердце пошаливать стало.

— От начальства я отделаюсь. Ну, так что?

— Если хочешь, — давай съездим, — сказал Сапожников.

3

Ночью Чернышов почти не спал. С вечера по тесным коридорчикам гостиницы все ходили постояльцы, скрипели половицами, громко разговаривали, хохотали, хлопали дверьми. Потом пошел дождь, шел

долго, чуть ли не до самого рассвета, то затихая, то опять усиливаясь, уныло стучал по стеклам.

Но заснуть Чернышов мешали не звуки, а собственные мысли, какие-то не очень и ясные, но тревожные. Перед ним все стояли всерьез обеспокоенные глаза Марии Ивановны, до сих пор чистые и доверчивые, которые он когда-то любил целовать и которые он обманул. Как это случилось? А черт его знает как! Была в его жизни Маша Дмитренко, застенчивая и доверчивая, как ребенок. А потом появилась Нина Лебедева, стремительная и веселая, для которой в жизни не существовало никаких преград. Она была единственной дочерью директора крупного завода, эвакуированного еще в начале войны в Новосибирск, училась до этого в Москве, в новосибирский институт перевелась в связи с болезнью матери, сразу же стала самой беспокойной и недисциплинированной студенткой на факультете, на лекциях появлялась время от времени. На экзаменах сильно трусила, но, к удивлению всех, сдавала их только на пятерки. На последнем курсе она стала его женой, а Маша кинулась под поезд. И опоздай Ленька Сапожников буквально на секунду, не было бы больше на свете Маши Дмитренко.

Слушая шум дождя за окном, Чернышов думал обо всем этом и в то же время остро чувствовал, что причина его бессонницы другая, другая... «Черт меня дернул, — больно ныло у него в голове, — сказать, что Сапожников не высоко ставит мои творения. «Тебя знает вся страна, твои книги издаются за рубежом...» А глаза опустил, и в голосе — не насмешка, нет — просто обыкновенный холодок, равнодушие. И еще: «Если бы белоярцы знали, что ты станешь таким знаменитым, ваш дом сохранили бы под твой музей... досадно, что снесли». И Маша, Мария Ивановна: «Вы, писатели, устроены по-особому...»

Каждая из этих фраз причиняла ему настоящую физическую боль. Он и раньше догадывался, знал, что и Маша и Сапожников не высоко ценят его книги. Поделился как-то об этом с Сеней Куприком, тот по своему обыкновению отмахнулся: «А наплюй. Художник не может быть принят всеми». И он в общем-то плевал. Но сейчас ему вдруг стало безразлично, как относятся к его творчеству люди, рядом с которыми прошли его детство и юность. Сеня Куприк тогда еще сказал: «Знаешь, я где-то читал, Жорж Санд написала однажды Флоберу: что для художника равнодушная к его творениям толпа, если в мире есть хоть один-два человека, понимающих и любящих его творчество! Сечешь?» — «Где это она написала?» — «Не припомню. Да и в том ли дело — где? Ты в мысль вдумайся».

Валентин Михайлович в мысль вдумался и как-то успокоился. А сейчас ему остро, прямо до какой-то болезненности хотелось, чтобы этими двумя людьми в мире были Мария Ивановна и Леонид

Гаврилович Сапожниковы. Но они не были ими, и осознание этого все больнее и больнее терзало душу. И зря он, видимо, приехал нынче сюда, и, может быть, к черту завтра всякую рыбалку, сесть в поезд — да обратно в Москву. А там на Ярославском вокзале встретит его давний друг Сеня Куприк и сразу же успокоит. Конечно, не водки, а коньячка они со встречи выпьют, ибо Сеня еще на перроне с искренней и радостной улыбкой скажет: «Валенька, я ведь знаю, как вы любите меня кормить! Так что я готов зайти даже в этот захудалый привокзальный ресторанишко». Успокоит тем, что, едва они выпьют по рюмке марочного коньяка, ибо никаких грубых напитков Сеня не употребляет, он спросит: «Ну-с, Валенька, что нас тревожит, какие возникли в жизни проблемы? Скажите их вашему верному другу, и он все устроит и все разрешит».

Да, он все устроит, разрешит, он своей доброй улыбкой, своими словами, своим спокойствием и уверенностью, что все земное и неземное подвластно ему, а значит — им двоим, успокоит его, Валентина Чернышова, но только чувствует он — теперь ненадолго, ненадолго.

И у Чернышова впервые мелькнуло, что душа его давно, видимо, больна, больна...

4

Осеннее утро было довольно свежим, даже холодным, дальние концы белоярских улиц тонули в тумане. Туман стоял хотя и не очень плотный, но, казалось Чернышову, был насыщен непомерно крупными водяными каплями, которые не могли держаться в воздухе и оседали на желтых листьях деревьев, на оконных стеклах, скатывались с железных и шиферных крыш на землю. Эти падающие с крыш капли, кажется, болью отдавались на сердце Чернышова и вызывали невеселые мысли о ненадежности да и о никчемности человеческой жизни.

Райкомовская «Волга» быстро вынесла их с Сапожниковым из Белоярки, покатила мимо убранных уже хлебных полей, беспорядочно, вкривь и вкось разбросанных между пологими холмами, каменистые вершины которых были покрыты зарослями таволжника и разной жимолости. Когда-то в Белоярском районе распахивались только самые удобные и продуктивные равнинные земли, а у подножий холмов и по их склонам обычно паслись колхозные стада. Так было до войны и долгое время еще после войны. Холмы вытаивали из-

под снега уже во второй половине марта, компании деревенских ребятишек часто взбирались на вытаявшие, еще мокрые, но уже зеленеющие места, устраивали какие-нибудь шумные игры. Но Валька Чернышов больше любил бывать где-нибудь там один. Иногда он, выбрав место посуше, сидел в одиночестве до вечера, смотрел, как все более чернеют и чернеют мокрые снега, лежащие вокруг холмов, как зажигаются тусклые керосиновые огни в молчаливой и угрюмой Белоярке. Село было недалеко, но проколоть сгущающуюся темень слабым огоньком было все равно нелегко, и они мерцали, казалось, из самых последних сил, но окончательно все-таки не исчезали.

А где-то в середине пятидесятых, когда повсюду распахивали целину, пашни начали подступать здесь к самым холмам, потом полезли наверх, стали прилипать к отлогим склонам кривыми заплатами. Земля была там каменистой, но поначалу давала хоть и не высокие, но сходные урожаи. Сейчас эти пашни стали совсем скудными, в иные годы, когда в мае не выпадало достаточных осадков, не давали ничего, ибо к июню посевы выгорали начисто. Таких годов в последние полтора десятилетия было больше десяти, семена, горючее, человеческий труд тратились впустую, всем это было ясно в районе и области, там и там Чернышов неоднократно заводил разговор о нецелесообразности сохранения пашен по склонам холмов, разговор этот и областному и районному начальству был неприятен, ему отвечали, что в общем-то, конечно, на холмах сеять не надо бы, да теперь никто не разрешит сокращать посевные площади.

— Что ж, нынче уродили эти пашни? — спросил Чернышов, кивнув на холмы.

Сапожников всю дорогу был задумчив и теперь вроде не расслышал вопроса, промолчал. Райкомовский шофер, человек лет уже шестидесяти, седой и, как все водители начальственных автомобилей, совершенно неразговорчивый, на этот раз криво усмехнулся и произнес:

— Уродили... Семян и тех не собрали.

— Что же это мы тогда делаем, а? — произнес Чернышов таким тоном, будто делал выговор райкомовскому шоферу. — Земли эти только убыток дают. А мы их каждый год распахиваем, культивируем, засеваем...

— Еще и удобряем, — сказал шофер.

— Как же это назвать?

— Как?! — шофер на секунду повернулся к Чернышову, сердито резанул его взглядом черных глаз из-под белых бровей. — Если бы не я возил начальство, а наоборот... так я бы сказал, как это называется.

И он так бросил вперед машину, что предупреждающе зазвенело

что-то, может быть, железо расхлябанного капота. Водитель убавил скорость и уронил:

— Извините.

Потом ехали до самых Борисенковых прудов молча, все чувствовали себя как-то неловко, будто невзначай заговорили о непристойностях, и вот, пристыженные за это друг другом, виновато умолкли.

Борисенковыми прудами издавна называлось мельничное водохранилище на степной речушке, протекающей километрах в десяти от районного центра. Водоем был один, но, разлившись меж холмов, он образовывал как бы несколько прудов, соединяемых узкими полосками воды.

Мельница была поставлена когда-то богатым белоярским купцом Борисенковым, откуда и название этого водоема. Обобщественная после революции, мельница еще долго служила людям, а потом, перед войной, в Белоярке был построен большой мельничный комбинат с элеватором, простенькая мельница могла бы еще не год не два доброе дело делать, но была разобрана, крепкие сосновые бревна пошли на какой-то склад при том же комбинате.

Но все это было давно. Сейчас мельничная плотина, построенная когда-то из огромных лиственничных бревен и каменистой земли, воду не держала. Бревна окончательно еще не сгнили, но вода вымыла из обрешетки плотины землю, камни осели вниз, сквозь щели меж бревен, покрытых зеленой слизью, беспрепятственно текла вода. Степная речка тоже сильно обмелела, лишь в весенние паводки бывшее водохранилище наполнялось доверху. Но когда таяние снегов прекращалось, уровень воды в Борисенковых прудах быстро понижался, и тогда прудов и в самом деле становилось несколько, ибо вода держалась только в самых низких местах.

Огнезье бывшей мельницы было заметно издали. В густых зарослях конопли и крапивы, покрывавших бывшую мельничную усадьбу, торчали толстые черные бревна. Борисенков строил мельницу добротнo, фундамент сделал из толстых, чуть ли не в полтора обхвата лиственниц, врыв их глубоко в землю торчком. На таком сплошном деревянном основании мельница сидела мягко, все сооружение тряски не боялось.

По старому взвозу, сейчас заросшему жесткой, высушенной уже травой и низкорослым кустарником, «Волга», поднимая колесами ветки и сухие дудки, протиснулась к самому огнезью и остановилась перед стеной крапивы и конопли на довольно просторной поляне. Дальше ходу автомашине не было.

Чернышов и Сапожников вылезли из кабины, взяли из багажника рыболовные снасти и вещмешок, в котором лежали котелок для ухи,

хлеб, чайник, пачка чая, несколько головок лука, соль да немного масла в пластмассовой коробке. Мария Ивановна пыталась положить туда еще отварную курицу, круг колбасы, кусок сала, но Чернышов воспротивился: «Что ж мы за рыбаки, коли на уху не наловим себе!» — «Да уж наловите...» — «Ну, голод не тетка, он заставит постараться. А то чаю вскипятим да похлебаем». — «Ну, старайтесь, ладно», — сдалась Мария Ивановна.

— Вечерком, как приедете за нами, посигнальте отсюда погромче, — сказал Сапожников водителю.

— Посигналю, — сказал тот.

«Волга» развернулась и уехала, на поляне сразу стало пустынно и уныло. Чернышов сел на холодный и мокрый от росы истертый жернов, торчащий из земли, стал тоскливо глядеть на гниющий в траве деревянный фундамент бывшей мельницы, слушать долетающий сюда шум падающей сквозь осклизлые бревна старой плотины воды. Шум был еле слышен, и Чернышов думал, что это, в сущности, последние отзвуки когда-то бурлившей тут жизни. Мальчишкой он не раз и не два бывал тут и отчетливо помнил, как весело крутилось за плотинной огромное, как мироздание, мельничное колесо, как гремели каменные жернова, стучали окованные железом колеса бричек, ржали лошади, взлетали под самые тучи человеческие голоса. Ничего этого здесь давно нет, и неясные звуки падающей малосильной воды вот-вот, кажется, затихнут совсем, умрут навсегда, а вместе с ними умрет и остановится вся жизнь, и даже тяжелый ветер, с разбега достигнув огнездыя бывшей мельницы, остановится над ним, потеряет всякую силу и иссякнет намертво.

— Почему, почему все проходит бесследно? — вдруг с какой-то болью произнес Чернышов.

Сапожников сидел рядом и рылся в коробке с рыболовными принадлежностями, лежавшей у него на коленях. Подняв голову, он внимательно, с любопытством поглядел на Чернышова.

— Была вот мельница...

— А-а... — Сапожников еще порылся в коробке. — Чего это тебя такие философские мысли обуревают?

— Видно, с того, что грустно... Была речка Белоярка — и исчезла. Была вот мельница — и нет ее...

— Был Александр Македонский — и нет его, — в тон ему сказал Сапожников.

— Ладно, — грустно рассмеялся Чернышов. — Тебе не понять моего состояния.

— Почему же, — возразил Сапожников. — Меня тоже посещают иногда такие мысли. Когда-нибудь вообще все пройдет и жизнь на Земле закончится.

— Ради чего ж тогда жить?
— Да ради того, чтобы жизнь не кончилась.
— То есть... как же это?
— Люди, надо полагать, найдут какую-нибудь другую, пригодную для жизни планету.
— Фу ты, черт, договорились! — воскликнул Чернышов, вставая. — Ну, где удить будем? Что сейчас берет?
— На спиннинг может щука схватить. Попробуем пару закидушек бросить на налима, для насадки я несколько кусков мяса захватил. Хотя днем вряд ли он возьмет. А на удочку должен еще елец клевать. Ну и пескарь, конечно.
— Давай мне удочку, — сказал Чернышов.
— Пескарь уже в глубокие ямы скатился, кучей стоит. Пойдем, я знаю где. По пути и червяков накопаем.

5

Елец не брал, а пескари клевали непрерывно. Чернышов, сидя на теплой кучке соломы, взятой из копейки, которых поблизости от речки на убранном хлебном поле было навалено великое множество, дергал и дергал их из черного, покрытого туманной испариной омота. Небольшие, но сильные рыбины, когда он их снимал с крючка, выгибались в его кулаке, холодили ладонь.

И вдруг ему как-то враз надоело это занятие, он положил удочку на зеленую еще здесь, в тени зарослей, траву, достал сигареты. Вдыхая едкий дым, морщился, но не от дыма, а от отчетливого недовольства собой. Ему казалось, что в нынешний приезд в Белоярку он ведет себя как-то не серьезно, не солидно, задает глупые, никчемные вопросы, вроде — почему, почему все проходит бесследно? Когда копали червей, он опять заговорил на эту тему. Без всякой на то причины раздраженно, будто даже сердясь на кого-то, воскликнул: «Скоро, Лень, и мы с тобой уйдем, как говорится, в мир иной, не оставив следа». — «После тебя останутся твои книжки», — откликнулся Сапожников. Чернышову опять послышалась насмешка в голосе Сапожникова, больно царапнуло это слово — книжки. «Мог бы ведь сказать — произведения, повести, в крайнем случае книги, — обиженно промолвил Чернышов, выбирая из черной земли красных дождевых червей. — А то — книжки». — «Слушай, Валя! — рассердился Сапожников. — Что ты нынче такой приехал?» — «Какой?» — «Все тебе не так, все тебе не то! Что я ни скажу — тебе чудится в моих словах обидный смысл». — «Извини. Конечно, книжки останутся, будет какое-то время жить. Недолгое...» Сапожников смотрел на Чернышова молча и недоброжелательно, он стоял и вытирал руки пучком травы. Покончив с этим занятием, прежним тоном

проговорил: «Вот на тот омуток садись. А я блесну сперва побросаю...»

День только начинался, солнце все упорнее пробивалось сквозь поредевшее разнородье, которым поросли берега пруда, туман на воде почти растаял, кое-где лишь покачивались на черной глади неплотные дымные клочья, да и те становились все прозрачнее, все меньше.

«Так и жизнь,— подумал снова Чернышов,— истает и окончится. И чего он злится, что книги, которые он написал, ненадолго переживут его? Что ж, значит, не сумел написать таких, которые волновали бы людей сильнее, а значит, и жили бы после него дольше. Да, не написал таких. А ведь мог бы, мог». Чернышов чувствовал это каким-то глубинным чутьем. Ведь он знал свой народ, его полную драм, трагедий, горя и крови историю. Говорят, история вместе с тем и героическая, ну да, это правильно, кто же с этим спорит, народ в конце концов добился социального освобождения, но какой ценой, какой ценой! Он, Чернышов, родился в деревне, в бедной семье. И он знает, как тяжело было жить простому человеку. Ведь что бы в обществе ни случалось, какие бы катаклизмы ни происходили — все ложилось на плечи простых людей. Русский человек сам по себе миролюбивый, добрый, домовитый, а цари частенько заставляли его брать оружие, уходить из дома на войну, чаще всего абсолютно ему непонятную и ненужную, и, ожесточаясь в этой войне, гибнуть где-нибудь далеко за пределами родимой земли. А если, уцелев в очередной войне, он возвращался на родину, дома его ждала обнищавшая семья, беспросветная нужда. Поэтому и загремел семнадцатый год. Тут уж простой человек воевал за себя, но ведь это тоже были кровь, лишения, гибель многих. Потом ожесточенная гражданская, после — беспощадная Отечественная! Какие события, какая история, действительно драматическая и героическая! Гибла одна социальная система, и рождалась другая, рушились вековые прежние устои жизни, и мучительно рождались новые принципы человеческих отношений, которые надо было отстаивать силой оружия. Какой драматизм человеческих отношений, какие судьбы ломались, какие человеческие характеры рождались в этом водовороте грозных противоречий и небывалых еще в человеческом обществе страстей!

Да, Чернышов все это знал, все понимал, нередко думал и не раз вслух высказывал мысль, что надо бы ему приняться за большой социально-исторический роман, но это были только мысли и слова, а сознание его больно угнетала мысль, что создать такое произведение он не в состоянии, не хватит, как говорится, пороха, к тому же его

смертельно страшил объем работы — ведь это годы и годы непрерывного, изнуряющего труда. А тут еще Сеня Куприк, лучший друг, говорил примерно так: «Зачем квашню такую заводить, зачем тебе эта которга? Самое милое дело — небольшая повесть. Несколькo недель — и испеклась. И ты — вольная птица! Ты не успеешь глазом моргнуть, а я уж распечатаю ее в отрывках, прокручу в журнале в трех-четырех издательствах. Это же, извиняюсь, деньги, деньги, деньги. А роман — дело громоздкое, на создание его уходят годы и годы. И потом, немодное сейчас это дело, роман...»

И еще лучший друг Сеня говорил: «Ты должен чаще выходить к читателю с новыми вещами, о тебе постоянно должны критики шуметь, греметь, реветь!»

И он, Чернышов, непрерывно писал повести. Он научился их выпекать, как выражался Сеня Куприк, из ничего, тот же Сеня, умная голова, и научил. «Ну, соображай,— говаривал он,— вот ситуация: муж, порядочный человек, хорошо зарабатывает, сам начальник и в ба-альшом фаворе у высшего руководства. И жена честная баба, хотя и красивая. И вдруг влюбилась в другого, в офицера. В семье драма, перерастающая в трагедию. Эта жена, как честная женщина, не в силах совладать со своей пагубной страстью, подвергает себя гибели. Что это, спрашиваю, такое?» «Ну, и что же это такое?» — спросил в свою очередь, Чернышов. «Балда! — рассердился Куприк.— Это сюжет гениального романа «Анна Каренина». «Ну и что?» — еще раз проговорил Чернышов. «А то...— холодно и убийственно-снисходительно усмехнулся теперь Сеня Куприк на такую непонятливость.— А то, мой друг, что это универсальный сюжет. Его можно видоизменять до бесконечности. Муж может быть, скажем, и непорядочным, или мало зарабатывать, или неудачником, или бесребреником, или... Да мало ли каким он может быть. И жена может быть всякой — ветреной, бесплодной, жадной до денег, подозрительной, просто глупой. Или у нее могут быть больные родители, тщательно скрываемая внутренняя болезнь. У этой семьи могут быть или не быть дети, у каждого из супругов могут обнаружиться побочное потомство или нехорошие наклонности. Боже мой, ведь это сотни, тысячи жизненных ситуаций, осложняемых до бесконечности какой-нибудь особенностью в характере одного из супругов, непредвиденным событием, случайным стечением обстоятельств. И не надо ничего особенного выдумывать. Советский быт в различных его проявлениях — это и есть социальность, это и есть история общества. Так что садись в кресло, только в жесткое, чтоб не насидеть геморрой, и — пиши, пиши, пиши!»

Так учил Сеня Куприк. И Чернышов, бывало, и две и три повести в год выдавал, все они немедленно печатались в журналах, выходили

в издательствах и по отдельности, и в сборниках, в литературной печати беспрерывно появлялись хвалебные статьи. Чернышов настолько к этому привык, что уже ленился читать рецензии на свои повести, чаще пробегал лишь заголовки хвалебных статей, а до конца прочитывал лишь те, на которые указывал Сеня Куприк. Попервоначально он сам удивлялся своему, как писали критики, всепроникающему таланту, с помощью которого он легко и всесторонне исследует философию жизни человека двадцатого века, а его герои побеждают страсть во имя человечности и гражданского долга, что ему, Чернышову, почти всегда тесно в рамках взятого им самим времени, тесно вследствие того, что он большой, очень большой художник. Удивлялся, а потом привык, стал принимать это как должное. Тогда-то и стали появляться робкие мысли — а коли он такой художник, не раздвинуть ли ему эти рамки времени, не взяться ли за нечто эпическое? «От добра добра не ищут, Валенька, — говорил ему на это Сеня Куприк. — Что бы там ни толковали, Чехов прежде всего гениален как рассказчик. А ты, я осмелюсь высказать, выдающийся мастер повести. Смотри-ка, что пишут-то о тебе умные люди...»

Умные люди писали, что Чернышов в новой повести, как всегда, выражает с помощью конкретных образов общечеловеческое, философское содержание жизни, что судьба его очередного героя постигается им как момент вечности — не более не менее.

...День все разгорался, редкие белые клочья тумана, недавно плававшие над черной водой, исчезли, сейчас по всей поверхности омута были рассыпаны солнечные блики, они, как большие золотые блюдца, покачивались, и казалось, вот-вот каждый из них зачерпнет воды и пойдет ко дну. Где-то по верхушкам древесных зарослей прошумел несильный ветер, просыпал в омут, на желтые блюдца, несколько десятков разнокалиберных листьев, тяжесть эта была не велика, но блюдца сильно закачались и вдруг исчезли, потонули — солнце закрыла набежавшая тучка.

Удочка сиротливо лежала рядом с Чернышовым, он покосился на нее, вздохнул, взял, начал выбирать из банки свежего червя. Насаживая его на крючок, думал, что тогда, тому уж давнее время, он принимал писания критиков за чистую монету, гордился собой, небрежно клал газету или журнал с хвалебной статьей перед Ниной, шутиливо говоря: «Смотри-ка, чего твой муженек-то в литературе вытворяет». Она брала эту газету или журнал, подносила к самым глазам, потому что была близорука, а очков не носила, читала один-два абзаца и говорила, поднимая голову: «Боже мой, какой ты у меня, Чернышов, гениальный». А может быть, этих абзацев она и не читала, даже скорей всего не читала, а говорила так потому, что надо было что-

то сказать. Фраза эта у нее была стереотипной. Жена не читала и его повестей, он знал это. В рукописи его она не заглядывала, да он и не разрешал, а свеженапечатанные повести несколько минут перелистывала, лежа обычно в постели, говорила эту свою фразу и, зевнув, прибавляла, что внимательно прочтет повесть завтра-послезавтра, откладывала ее и больше никогда в руки не брала. Такое отношение жены к его творчеству обижало, но он прощал ей, как прощал все — неуютную, вечно неприбранную квартиру, бесконечные, изнуряющие его разговоры по телефону с подругами и друзьями, нежелание иметь детей, ибо любил ее бесконечно. Но... и этому, кажется, уж давнее время. А сейчас... Что же сейчас?

Чернышов забросил удочку. Сквозь поредевшую листву солнце снова сыпало на черную воду пригоршни золотых углей. Листья деревьев под слабым ветерком трепетали, огненные искры на воде переливались, поплавок какое-то время покачивался на усыпанной желтыми брызгами воде. Потом вдруг нырнул вниз, стал беспрерывно дергаться, наживку схватил пескарь, а может, и елец или другая какая-то рыбина. Но Чернышов вытаскивать рыбину не спешил, и вообще делать этого ему почему-то не хотелось, он ни с того ни с сего вспомнил вдруг ровный и спокойный голос жены, раздававшийся время от времени над его ухом: «Чернышов, у нас кончаются деньги».

Деньги, деньги, деньги... Он зарабатывал их своим писанием немало, а их то и дело не хватало. Но правда и то, что пополнить пустеющий карман было не так уж трудно, стоило сказать об этом Куприку, и он в самом скором времени приносил договор на переиздание каких-нибудь вещей Чернышова, с выплатой крупного аванса. При этом он весело улыбался и говорил обычно одно и то же — выбить этот договор ему стоило сущие пустяки: расходы на такси, на два-три ресторанных вечера да на кое-какие мелкие презенты техническим и финансовым работникам издательства. Потом улыбка с Сениных губ исчезала, на лице появлялось страдальчески-усталое выражение, и он называл сумму, которую якобы потратил на «выбивание» договора. Сумма эта колебалась в зависимости от объема намечаемой к изданию книги, но всегда была немалой. Чернышов знал, что Сеня Куприк никаких ресторанных вечеров не давал, никаких подарков никому не вручал, расходы его ограничивались лишь разъездами на такси — тут вот Сеня барствовал, общественный транспорт он не любил еще больше, чем грубые алкогольные напитки, — но отвечал Куприку, отворачивая глаза, что хорошо, мол, какой разговор, при получении аванса он возместит... Отворачивал потому, что в эти секунды возникало в нем к кому-то, даже и не к Сене, а так, безадресное вроде чувство брезгливости. Однако оно тотчас проходило, сменялось чувством и словами благодарности к Куприку,

ликвидировавшему его очередное финансовое затруднение легко и просто. В ответ Сеня удовлетворенно улыбался и говорил: «У меня, Валенька, просто потребность такая — делать людям добро. Я, по сути дела, ваш добровольный литературный агент... Добровольный, Валенька, и мне никаких вознаграждений за мой труд не надо».

Однажды за рюмкой коньяка он проговорил: «Литературные агенты на Западе, в Америке — обыкновенное явление. Но там они имеют от доходов писателя большой процент». Чернышов никакого второго смысла в словах Куприка тогда не уловил, он даже кивнул, да, мол, имеют, такие уж там порядки, и разговор перешел на другое. Но вот как-то, опять же за обедом или ужином в ресторане после выхода очередной книги Чернышова, Сеня Куприк промолвил: «Вот судьба, Валенька. От некоего знаменитого русского писателя я отличаюсь всего одной буквой. А гонорары получаю далеко не те». — «От какого писателя, какие гонорары?» — и тут не понял ничего Чернышов. — «Я говорю, что если бы моя фамилия оканчивалась на букву «н»...» — «А-а», — протянул Чернышов, глядя на Куприка так, будто увидел его впервые. Куприк усмехнулся: «Вы, Валенька, кажется, думаете обо мне нехорошо. А напрасно, напрасно. Я этого не заслужил, мой дружок». Улыбка Куприка была холодная, обиженная. Все это Чернышов ощутил очень явственно и снова почувствовал, что у него внутри возникает к лучшему другу Сене в ответ нечто нехорошее. Но Куприк согнал с лица обиженное выражение, по-родственному прижал его к себе, одновременно погладив по плечу. А потом встал, произнес тост за великую движущую силу советского общества — за литературу, за ее славного представителя Валентина Чернышова, за сборник его новых повестей, в которых серьезно и глубоко исследуются извечные вопросы человеческой совести, смысла человеческой жизни, и потому-то эти его произведения являются заметным вкладом в общечеловеческую копилку духовных ценностей, и он, Семен Куприк, гордится тем, что является современником такого выдающегося писателя, однако судьба была настолько благосклонна к нему, Семену Куприку, что наделила его еще и близкой дружбой с этим оригинальным, самобытным и неповторимым художником.

Слушая эти слова, Чернышов испытывал стыд за возникшее было в нем сейчас и появившееся кое-когда раньше чувство неприязни к своему другу. Славный Сеня Куприк, как всегда, был добр, щедр, искренен и на слова и на благородные поступки во имя их давней дружбы. Как бы там ни было, а он всякий раз приходил на помощь, облегчая ему, Чернышову, существование. И с тех пор Чернышов с легким сердцем вдвойне, а то и больше восполнял называемые Сеней издержки по издательским делам. Сеня иногда даже возражал против такой щедрости, чуть ли не возмущался, но деньги брал.

...Поплавок на воде давно не дергался, лежал недвижимо. Чернышов медленно поднял удилище, вынул из воды обессиленного, почти мертвого пескаря. Был это даже и не пескарь, а молодой, сантиметров восьми всего, пескаришко, а смотри ты, подумал Чернышов, как бился на крючке, как дергал поплавок. И неожиданно мелькнула у него, ужаснув, горькая и страшная мысль, что и он, Чернышов, он человек, так же вот поддается-поддается в жизни да и затихнет, обессилен. Вот, кажется, и силы у него начинают убывать. В последние годы все труднее и труднее стало садиться за письменный стол. А что им сделано? Да, что же все-таки сделано? Давно был тот ужин или обед в ресторане, когда Сеня Куприк говорил о нем как о выдающемся писателе. Тогда он верил ему, а теперь знает, что в тех его словах, как в подобных же речах других, как во всех хвалебных статьях о нем, была фальшь, фальшь, фальшь... Его повести не имеют и десятой доли той художественной ценности, которую приписывают им критики. Потому и Нина, самый родной и близкий в этой жизни человек, произведений его не читает, потому-то и Сапожников с Машей относятся к его творчеству прохладно. Поэтому и читатели на встречах с ним особого восторга по поводу его литературной работы не выражают — так, спокойно, без всяких эмоций выслушают хвалебные слова какого-нибудь из критиков, обычно сопровождающих его на подобных мероприятиях, так же спокойно и равнодушно выслушают его самого, вежливо похлопают. Иногда два-три человека в конце такой встречи подойдут к нему с его книгами и попросят автографы. Когда-то, до каких-то пор Чернышов обо всем этом не задумывался, но ведь это,— так, так! Критика по поводу его творений шумит, бушует, даже кричит, надрываясь от восторгов, а у людей свои мерки художественных ценностей. А уж у времени — тем более!

Насаживая свежего червя на крючок, Чернышов почувствовал, как испытанное не раз чувство неприязни или даже враждебности к Семену Куприку снова возникло в нем, начало потихоньку усиливаться, усиливаться...

6

К полудню кончился всякий клев, Чернышов и Сапожников решили заняться ухой. На спиннинг Сапожников поймал с полдюжины небольших щук, а Чернышов надергал с полсотни пескаришек. Всех пескарей высыпали в котелок, залили чистой холодной водой, повесили над огнем. Костер разложили на опушке зарослей, окаймляющих пруд. Сапожников выпотрошил и тщательно промыл одну из щук, чтоб заложить потом в отвар из пескарей.

На опушке было тихо и тепло, полуденное солнце довольно ощутимо припекало. Прямо к опушке подходило хлебное поле, заваленное кучами вымолоченной пшеничной соломы, где-то далеко постукивал тракторный мотор, звук его доносился еле-еле. Этот единственный звук, то совсем пропадающий, то возникающий снова, подчеркивал пустоту огромного поля и висящую над ним тишину. Ловя ухом далекий металлический стук мотора и вслушиваясь в свое состояние, вызванное недавно ужаснувшей его мыслью, Чернышов думал теперь о безбрежности и нескончаемости жизни. Миллионы лет протекли над этим полем, в течение долгих-долгих веков волновалась тут под ветром одна трава, потом стало жить в ней всякое степное зверье, гнездиться птицы, оглашалось это поле только их криками. Но вот появились люди, кони, машины... Когда-то поле впервые распахали, посеяли люди здесь необходимые им злаки, а осенью собрали их. И с тех пор повторяется одно и то же: каждую зиму молчаливо лежит поле под покровом снега, отдыхая и набираясь сил, весной люди засевают его и до осени, до уборочной страды снова над полем тишина, лишь шелестят поднимающиеся хлеба да временами вспарывается небо скоротечными летними грозами. А осенью опять приходят сюда люди, оживает поле звуками работающих моторов, человеческими голосами. И опять все утихает, и снова тишина, изредка нарушаемая свистом ветра, снежными вьюгами, царит тут до весны. И так будет повторяться каждый год, каждый год, бесконечно, независимо от того, хорошие или плохие книжки пишет Чернышов Валентин, живет он или уже кончил где-то свой земной путь. И в этом бесконечном повторении заложено то великое таинство жизни, тот величайший ее смысл, над разгадкой которого извечно бьется человечество. Правильно говорит Леонид, люди живут ради того, чтобы жизнь не кончилась. И когда земля окончательно высохнет, когда люди используют все ее природные ресурсы, в том числе и воздух, они, люди, возможно, и найдут другую планету, пригодную для жизни, а там — еще и еще множество таких планет обживут и, возможно, когда-нибудь научатся даже воспроизводить необходимые для жизни человека природные ресурсы своих планет, — ну а все-таки в чем конечный-то, самый конечный смысл жизни и деятельности человека как разумной материи природы?

Задав себе этот вопрос, Чернышов внутренне усмехнулся: новый Манфред нашелся!

Из зарослей вышел Сапожников, неся охапку сухого хвороста, бросил его на землю, потом принялся каждую хворостинку ломать на несколько частей и класть в ослабевающий костер. Огонь сразу оживился, заплясал веселее, начал подниматься выше. Чернышов как-то остро стал ощущать возникающее в нем волнение и, зная уже, отчего оно, думал, что этого конечного смысла никто не знает, вечно

будут одни костры потухать, а другие разгораться, освещая всегда новую и всегда иную жизнь с ее извечными людскими страстями, приносящими то безграничные радости и счастье, то неизбежное долгое горе и слезы... Волнение же он начал испытывать потому, что вспомнил неожиданно такой же примерно огонь, в который он подкладывал хворост, а у костра сидела Маша Дмитренко, тоненькая и пугливая девчонка, которую он, Валька Чернышов, до безумия, оказывался, любил...

В начале сорок пятого случилась меж ним, Машей и Ленькой Сапожниковым та памятная размолвка. Целых полтора года, до самого отъезда Валентина в новосибирский институт, отношения между ними были, ну, не враждебными, конечно, а какими-то неловкими. Они, Маша и Ленька, оба пришли провожать его на вокзал, и он, Валентин, им сказал: «Ну, оставайтесь...» Сказал вроде не зло, не насмешливо, сказал, стараясь придать голосу безразличие, равнодушные. Но глаза у девушки перелолнились слезами, губы дернулись, она дважды вскрикнула: «Да сколько же можно?! Сколько можно?!» И, зарывав, побежала прочь. Бежала согнувшись, подняв острые вздрагивающие плечи, прижав ладони к лицу. Весь год Валентин видел перед собой эти вздрагивающие от обиды девичьи плечики, сердце у него больно щемило, до того больно, что из него, казалось, сочится кровь, в ушах звучали те ее слова: «Сколько же можно?!» Эти слова, а главное — голос, каким они были сказаны, постепенно рождали убеждение, что Маша любит, любит его, что надо бы, хорошо бы написать ей письмо, но из какого-то упрямства он писем не писал, никаких вестей о себе не подавал, а, приехав летом сорок седьмого на каникулы, войдя в дом и поставив чемодан на пол, тем же равнодушным голосом сказал ей: «Здравствуй...» Он произнес это слово и увидел, что ее худенькое тело напряглось, большие глаза стали, как в прошлом году, наполняться слезами, а красивое лицо исказилось невыносимой мукой. И он невольно вскрикнул: «Ах ты, Машка, Машенька!» — схватил ее за руку и потащил из дома.

Куда они бежали, он не соображал, руки ее не выпускал, она во время этого сумасшедшего бега то плакала, то смеялась, а за селом, обессиленная, упала ему на плечи со словами: «Валя, Валя...» — и уже не смеялась, а только плакала, но это были теперь счастливые слезы.

Потом они где-то разложили костерок, и Валентин так же, как сейчас делает это Леонид Сапожников, подкладывал в огонь хворост, пламя весело плясало и отражалось в счастливых Машиных глазах. «А Ленька Сапог... Сапожников... любит тебя?» — спросил он ее. «Любит», — грустно откликнулась Маша. «Но... как же тогда?» — глуповато проговорил он. «Откуда ж я знаю. Я-то не могу любить двоих», — ответила она еле слышно. — Я решила поступить в тот же

институт, где ты. Чтoб всегда-всегда быть вместе!» — «А Ленька?» «Он... он тоже... отправил документы туда же...»

— Уха, кажется, готова, — раздался голос Леонида Гавриловича, заставив Чернышова вздрогнуть. — Может, под уху-то... по стопочке?

— А что ж, можно, — не слыша своего голоса, сказал Чернышов.

7

По стопочке они выпили, но от второй Чернышов категорически отказался, заявив, что у него мелькнула вроде одна мысль, которая может пригодиться для очередной повести, и ему эту мысль надо обдумать, пока она не затерялась, не забылась, и, может быть, даже сделать в блокноте кой-какие заметки.

— Понимаю, — кивнул Сапожников и, убирая бутылку, с улыбкой добавил: — Вот ведь как... Сегодня мы с самого утра вместе, заняты одним делом. Но у тебя мелькнула вот какая-то творческая мысль, а у меня нет...

— А-а, — улыбнулся и Чернышов. — Все дело в том, что писатель, вообще художник, устроен так, что мозг его никогда не спит, все время находится в рабочем состоянии.

— Вон что, — произнес Сапожников, как показалось Чернышову, теперь сухо и холодно. — Ну, обдумывай, а я котелок вот помою да спиннинг еще покидаю.

Сапожников спрятал в рюкзак ломти хлеба, выплеснул на землю остатки ухи, положил в котелок ложки, отправился к реке. Чернышов тоже поднялся, быстро подошел, почти подбежал к ближайшей соломённой копне, бросился в нее, лицом вниз, полежа́л так какое-то время, затем медленно перевернулся на спину, стал смотреть в осеннее небо. В небе ничего не было, ни облаков, ни птиц, оно было просто пустое, неуютное. И хотя достаточно еще грело солнце, по земле растекалось тепло, Чернышов чувствовал, что небо уже холодное и что с каждым днем теперь оно будет холодеть все больше и больше.

Никаких творческих мыслей у него сегодня в голове не мелькало, не появлялось, он так сказал Сапожникову затем, чтобы просто побыть одному, полежать, как бывало в детстве и юности, в копне свежесжатой пшеничной соломы, подышать ее запахом, поглядеть в беспредельное небо над землей. Ему мучительно захотелось этого во время обеда, когда он выпил ту единственную стопку водки. Он вдруг представил, как торопливо и взволнованно забьется его сердце, замрет и онемее́т от восторга вся душа, едва он упадет на кучу свежей соломы. Ведь он родился и вырос в селе, и

странно, что подобное желание раньше никогда к нему не приходило, хотя он чуть ли не каждый год бывал на родине. А теперь вот пришло, затопило его полностью, он не захотел больше ни ухи, ни водки, с нетерпением ждал конца обеда, той секунды, когда бросится лицом в солому. И вот бросился и замер, ожидая чего-то необыкновенного. Но ничего не произошло, сердце не забилося, и душа не онемела. Он вдыхал какой-то душный и горьковатый запах, незнакомый и неприятный ему. «Неужели так пахнет пшеничная солома? — подумал он неожиданно спокойно, без раздражения. — Или на этой хлебной полосе было полно каких-нибудь сорняков, той же сурепки? Ну да, так неприятно пахнет, кажется, сурепка...»

Тракторный мотор все постукивал где-то, сквозь эти механические звуки временами пробивались, кажется, человеческие голоса. Чернышов напряг слух, затаил даже дыхание. Ну да, где-то работали люди, судя по всему — не двое, не трое, а больше, Чернышов различал теперь и говор, и смех, и мужские, и женские голоса. Они то будто приближались, то удалялись, пропадая совсем. Люди очищали, кажется, поле от соломы, свозили ее в одно место и скирдовали.

Чернышов вспомнил, что после его последних слов Сапожников обиделся почему-то, к речке ушел сердитым, ложки в котелке глухо и будто тоже сердито позвякивали. А что он такого обидного ему сказал? Мозг художника действительно всегда находится в рабочем состоянии, всегда готов воспринять, всесторонне оценить, творчески проанализировать любую новую мысль, любой жизненный факт, случай, событие.

Но, подумав так, Чернышов ощутил, как возникает в нем чувство собственного осуждения. Он считал себя человеком честным, порядочным, неглупым, так оно было и на самом деле, к людям он относился в высшей степени справедливо, своими достижениями и своим положением в обществе никогда не кичился, а вот сейчас в его словах, что художник устроен несколько по-иному, вроде бы проскользнула нотка высокомерия, пусть и не сознательно, случайно. «Я, мол, талантлив, а ты нет, потому ко мне пришла творческая мысль, а к тебе нет. Да, не надо бы так говорить, потому что... Потому что и он, Сапожников, талантлив. Он прекрасный педагог, отличный, как все считают в районе, организатор и руководитель. Разве этого мало? Не надо бы так ему говорить... Но с другой-то стороны, — неожиданно подумал Чернышов, — речь шла ведь о таланте художественном. Я обладаю им, а Сапожников нет... как у меня абсолютно нет таланта педагогического и организаторского. Так что же тут обижаться?»

Придя к такому заключению, Чернышов удовлетворился им, чувство внутреннего осуждения исчезло. «Тем более, — продолжал думать Чернышов, — Ленька Сапог, пожалуй, талантливее меня

душой, той внутренней, не выставленной на вид добротой и щедростью, которая является главным богатством человека. А может быть, и главным его талантом. Да, да, Маша, Мария Ивановна, так и сказала недавно. Как-то, в один из последних приездов, он спросил у нее: «Ты, Маша, счастлива с Леонидом?» Она подняла свои большие серые глаза и могла уже не отвечать на его вопрос. Но она сказала: «Бесконечно, бесконечно!» Голос был настолько благодарный, а глаза настолько счастливые, что это больно задело что-то в Чернышове, непонятная и давняя-давняя обида просочилась, чуть-чуть проступила в сердце, как влага иногда проступает сквозь толщу каменных пород, остывших еще тысячелетия назад. И показалось тогда, что вроде совсем-совсем недавно Маша Дмитренко, задыхаясь от чувства к нему, Чернышову, произнесла приговор Леньке Сапожникову: «Я-то не могу любить двоих», — а теперь вот она счастлива с ним бесконечно. Она еще добавила потом Чернышову боли, проговорив: «У него, Валя, золотая душа... Да нет, дороже всякого золота, нет той цены, которой можно было бы ее оценить».

— Валентин, рюкзак я у костра оставляю, — раздался голос Сапожникова. — Я тут недалеко буду, если что — крикнешь.

Чернышов, не вставая с копны соломы, повернув только голову, увидел, что Сапожников возится у потухающего костра с рюкзаком, закидывая туда вымытый котелок. И в знак согласия махнул рукой. Сапожников взял лежащий на земле спиннинг и снова пошел к зарослям, окаймлявшим водоем.

Провожая взглядом его широкую, покачивающуюся в такт шагам спину, Чернышов думал уже не о Сапожникове с Марией Ивановной, а о Нине Лебедевой, появившейся в его жизни осенью сорок восьмого. Он учился тогда на третьем курсе, а Маша на втором, их считали в институте людьми конченными, то есть почти семейными, не вступившими еще в брак лишь потому, что комнат для семейных студентов в общежитии не выделяли, а снимать где-то жилье было не на что. Так оно все и было, Валентин подумывал уже перевестись на заочное отделение с тем, чтобы поступить на работу — он напечатал два-три очерка о студенческой жизни в комсомольской газете, и его в любое время обещали принять в штатные сотрудники — и иметь возможность как-то решить вопрос с жильем. Против этого неожиданно и зло восстал Сапожников. «А твое-то какое тут дело?» — рассердился Чернышов. «Леня, Валя, не ссорьтесь», — успокаивала их Маша. «Я боюсь, Валька, что ты... работа, семья тебя засосет и заочно институт ты можешь не кончить», — говорил Леонид. — Или растянешь образование на много лет». — «Ну если даже так... тебе-то что за работа?! Ты смотри, Маша, как он о нас беспокоится!» — «Ну, положим, о тебе-то...» — воскликнул Сапожников и умолк, задавил в себе дальнейшие слова. «А-а, значит, ты только о Маше?» —

«Правильно! Угадал! — почти прокричал Леонид. И, беря себя в руки, тише добавил: — Именно о ее судьбе и беспокоюсь, дурак».

В это-то время и появилась на курсе Нина Лебедева. Что и говорить, Нина была красива, и это рождало почему-то в Чернышове неприязнь к ней. Месяца два или три он будто и не замечал ее присутствия на курсе, вслух никогда не здоровался, так, кивал молча головой, когда нельзя было сделать вид, что он ее не замечает. Но однажды они столкнулись в институтской библиотеке, как говорится, нос к носу. Он и здесь хотел было молча кивнуть и пройти мимо. Но она насмешливо произнесла: «Боже мой, неужели имею счастье так близко лицезреть знаменитого Валентина Чернышова?» — «Чем же я знаменит?» — спросил он, стараясь как можно смелее глядеть в ее коричневые, с колючими искорками глаза. — «Да говорят, что вы почти писатель». — «А-а,— усмехнулся он, опуская глаза. Он опустил их от смущения и растерянности, от сознания, что неприязнь к ней он вызывал в себе искусственно, а на самом деле боится этих ее коричневых, с пронзительными искрами глаз, которые он чувствовал, могут натворить с ним и с Машей бед. Но это смущение и растерянность вызвали вдруг в нем злость, и он нашел в себе силы поднять на нее глаза и холодно сказать: — Должно же вам хоть раз в жизни выпасть счастье».

Она не сразу поняла смысл этих слов, а когда он начал доходить до нее, стала все выше и выше поднимать тонкие брови и наконец удивленно выдохнула: «O-o!» — «Вот именно», — подтвердил он машинально и, чувствуя облегчение от того, что после такого дерзкого с ней разговора никакие беды им с Машей теперь не грозят, пошел мимо нее своей дорогой.

Но как он был наивен в своем убеждении, что этот разговор отведет беду от него и Маши. Все вышло наоборот, наоборот... Всю ночь он не спал, казня себя за грубый и наглый, как он считал, ответ Нине Лебедевой, чувствовал на своем лице ее похолодевший взгляд, потом с неделю не ходил на лекции, боясь увидеть ее. «Ты чего, Валь? — обеспокоилась Маша. — Заболел?» — «Ничего я не заболел! Ну чего ты...» — раздраженно выкрикнул он. — «Ва-аля?!» — испуганно воскликнула Маша. — «Ну... извини, извини», — сразу выпустил он из себя весь пар, утих.

С тех пор он стал как-то еще старательнее избегать Нину Лебедеву, подальше обходить то пространство, где находилась или могла находиться она, а когда уже нельзя было ее миновать, все так же молча и еле заметно кивал в знак приветствия и спешил прочь. И ему казалось, что он ведет себя точно так же, как и раньше, до той встречи в институтской библиотеке. Но Маша становилась все молчаливее, все печальнее и однажды, разрыдавшись, закричала: «Кого ты обманываешь? Себя? Меня? Да я же все вижу, вижу, ты любишь ее! Любишь...»

Он принялся ее неловко успокаивать, неумело и неубедительно опровергать ее слова, чем только еще больше подтвердил их, и Машу начала бить истерика: «Откуда она появилась тут, проклятая?! Оставь ты меня сразу! Оставь, не мучай!».

Сразу он ее не оставил, и может быть, зря, так было бы легче и ей и ему. Да и Леониду Сапожникову, который знал всю историю их отношений. И весь курс знал, потому что однажды Нина во всеуслышание заявила: «А ты, Чернышов, напрасно меня избегаешь. Я ведь лебедь из волшебной сказки, я все равно посажу тебя на свои крылышки и унесу». Слова были столь неожиданны, что Валентин сперва не знал, как на них ответить, потом неуклюже буркнул: «Еще уронишь». — «Не-ет, — блеснула она своими глазами-искрами. — Донесу до самого нашего счастья!»

И донесла...

Валентин Чернышов закрыл глаза и тотчас увидел безграничную черную бездну, в которую начал падать, погружаясь в черную пучину все глубже, все дальше. Такое вот своеобразное видение черной бесконечной пустоты перед собой, в которую он погружается, Чернышов впервые ощутил не сегодня. В первый раз сознание представило ее давно-давно, в день похорон матери Нины. Она скончалась от сердечной недостаточности в мае сорок девятого, как раз в разгар весенней экзаменационной сессии, и на кладбище, когда зарывали могилу, Нина взяла его руку, сжала ее холодными пальцами и прошептала: «Теперь ты не оставляй меня. Иначе я тоже помру». — «Я не оставляю, не оставляю», — промолвил он торопливо и увидел перед собой впервые ту черную бездну, в которую потом падал и падал, стоило лишь закрыть глаза.

8

В той стороне, где недавно стучал трактор, опять слышались человеческие голоса, донесся женский смех. Затем все утихло, какое-то время над убранным пшеничным полем снова стояла мертвая тишь. Но Чернышову почему-то казалось — сейчас, вот сейчас она нарушится, но уже не стуком тракторного мотора, не беззаботным девичьим хохотом, а чем-то иным.

Предчувствие нарушения тишины в нем странным образом все более укреплялось, и он даже привстал в ожидании того, что неминуемо должно было произойти. И дождался — по пустынному и холодному уже сентябрьскому небу полилась песня. Голос был девичий, тоненький и несмелый, но он резко печатался в тишине, разлившейся над полем, и Чернышов отчетливо разобрал слова:

У родимой матушки
Я, как лен, цвела.
Жизнь моя отрадная,
Как река, текла.
В хороводах и кружках —
Всюду милый мой
Не сводил очей с меня,
Любовался мной...

Девичий голос был негромкий, но доверчивый и чистый, как лесная речка. Именно светлая речка Белоярка из далекого детства и представилась Чернышову. Он любил сидеть на ее берегу где-нибудь за селом, где Белоярка была не больше ручейка, и слушать, как маленькая вода тихо позванивала и доверчиво звала к себе. У речки можно было сидеть неподвижно часами и наслаждаться бесконечным хрустальным звоном, бегущей светлой водой, запахами деревьев и травы, растущей по ее крохотным берегам. Можно было наклониться к речке и с наслаждением попить ее прозрачной, вкусной, охлаждающей воды. А стоило войти в нее ногами, замутить — крохотная речка все так же продолжала течь и звенеть, но звуки становились уже не хрустальными, а просто булькающими, и запахи, недавно еще нежные, таинственные, сразу как-то грубели, пропадали.

Мелодия песни не была радостной и не была печальной. Она, как сразу определил для себя Чернышов, была светло-грустноватой и поразила созвучием его настроению и еще чем-то более важным, чем его нынешнее состояние. Чем же?

В сознании Чернышова промелькнуло, как в первую ночь их с Ниной близости она все шептала и шептала, что отныне весь смысл ее жизни в любви и что она затопит его своей любовью. Как давно это было! Он тогда взял да и спросил: «А в чем теперь будет смысл жизни ее... Маши Дмитренко?» — «Ах, боже мой, да какое мне теперь дело до нее?! До всех людей на свете! — прокричала Нина. — Ты — мой, а я — твоя!»

Вспомнив об этом, Чернышов ждал продолжения песни, будучи твердо уверенным, что оно последует. Так и произошло: совсем не с земли, а из безбрежного светлого неба опять донеслось:

...Но давно уж милый мой
Стал как лед зимой,
Ласки свои нежные
Отдает другой...

Девичий голос теперь рвался от тоски и горя, и ему было тесно там, в этом безбрежном небе, а безграничное светлое пространство будто

причиняло еще большую боль. И он тотчас вспомнил, как Маша Дмитренко тогда, давно-давно, из последних сил простонала ему в лицо: «Валя, как же ты делаешь мне больно...» Заплакала и пошла. Да, для Нины и для него смысл жизни был тогда в их любви. Чуть ли не каждый день он приходил к Нине домой, часто оставался у нее до утра и, ощущая под руками ее полыхающее тело, слыша, как гулко стучит ее сердце, он тоже забывал о Маше, обо всем на свете. Ему было хорошо, а Маше плохо, какое-то время он жалел ее, а потом стал жалеть все меньше и наконец перестал совсем.

...Лучше чем соперница,
Краше чем меня?
Чем отбила милого
Друга от меня? —

тоскливо спрашивал из вышины девичий голос. Так вот чем поразила его песня в самом начале — это же Маша, Маша изливает ему в песне всю свою боль!

...Иль косою русою?
Белым ли лицом?
Иль походкой частою
Завлекла его?

Да, чем завлекла его Нина — непонятно. Красотой? Ну, и Маша не уступала ей во внешности. Разница между ними состояла в том, что Маша обладала душой открытой, доверчивой и бескорыстной, а Нина была честолюбива, расчетлива и равнодушна к другим. Эти ее качества Чернышов почувствовал и узнал сразу, еще до слов, сказанных ею о Маше: «Ах, боже мой, да какое мне теперь дело до нее...» А вот поди ж ты, любовь к Нине обрушилась на него как обвал. Что в те дни творилось с Машей — невозможно было и вообразить. Да он тогда и не воображал себе этого, он иногда видел ее, высохшую, подурневшую, и, умом понимая, как ей тяжело, как невыносима теперь для нее жизнь, сознавая себя предателем, эгоистически выискивал себе оправдание в том, что все равно Маша не останется одна, что ее любит Ленька Сапожников, что он ее никогда не покинет, и даже хорошо, что он, Чернышов, с Ниной, соперника у Леньки теперь нет. Как-то он ему так и сказал: «Я сейчас тебе, Лень, не соперник...» И услышал в ответ: «Ты не соперник. Ты просто подлец!» И он

согласился с этим, не чувствуя себя даже оскорбленным, ибо слова были справедливы, и проговорил: «Все так, Леня... Я виноват перед Машей. Но я не могу порвать с Ниной. Это выше моих сил. А ты... не бросай Машу. Не покидай ее». — «Ишь ты какой... добряк!» — зло крикнул Сапожников.

Это слово «добряк» больше всего ударило тогда Чернышова. Сапожников разгадал те неуклюжие оправдания, которые пытался найти для самого себя Чернышов, и это было невыносимее всего. Но тот обвал заваливал, заваливал его все глубже, пока откуда-то сверху, из крохотного, свободного пока пространства не пробилась к нему страшная весть: «Маша Дмитренко кинулась под поезд!» «Как, почему, зачем же?!» — с оглушающим звоном долбило и долбило в уши, и он, раздавленный страшным известием, ходил по огромной квартире своей молодой жены, как слепой, без конца тыкался в стены, а дверей будто найти не мог. Не мог найти их до тех пор, пока Нина, не скрывая ядовитой иронии, сказала: «Не переживай уж так наглядно, цела и невредима твоя Маша». — «Ка-ак!» — прохрипел он и, в ту минуту не веря, не в состоянии поверить словам жены, закричал: — Ты еще можешь так кощунствовать... так чудовищно...» Слов необходимых и точных он подобрать не мог. «Леонид Сапожников в последнюю секунду выхватил ее из-под колес паровоза, — сообщила Нина. — Он же давно за ней как тень ходит. В психолечебнице Маша твоя лежит».

Она сообщила все это и обиженно поджала губы. А он кинулся в больницу.

Когда он вошел в белую палату, Маша лежала на койке, выкрашенной в белую же краску, смотрела в потолок. Потом медленно повернула голову, некоторое время смотрела на него, не мигая. Беззвучно кричащие глаза ее стали наполняться тяжелыми слезами. Ноги его сами собой подломились, он упал перед кроватью на колени. «Прости меня, Маша... Маша, милая, я разве виноват, что она... появилась? Прости, умоляю...» — «Ладно, — сказала она тихо и тоскливо, проглотила тяжкий комок. — Я так тебя люблю, что... прощаю. Только ты мне чуть помоги... чтобы мне хоть чуточку полегче было. Ну подкажи, как мне дальше жить? Зачем жить?»

Лучше бы Маша сказала тогда: иди и, как я, бросайся под поезд. И он бы почувствовал облегчение, пошел бы. Но она сказала не так, а иначе, сразу вдвое, втрое увеличив его мучения, которые он сегодня почему-то переживает ничуть не легче, чем тогда. А тут еще эта песня... Только где же она, почему умолкла на середине? Он чувствовал, что песне еще не конец, что она будет продолжаться, и он надеялся почему-то, что она даст ему ответ на все те вопросы, которые

в нынешний приезд в Белоярку вдруг навалились и одолели его. Она должна дать ответы, потому что... потому что он, Чернышов, может быть, за этими ответами и приехал. Ему надо уяснить как-то свое место и свою роль в жизни, оценить самого себя полной мерой, понять в конце-то концов что-то главное в своей судьбе. А песня вот давно умолкла...

Нет, умолкла песня совсем недавно, это мысли в голове Чернышова неслись с непостижимой быстротой, в какие-то мгновения в его воображении проходили длинные отрезки прошлой жизни, создавая иллюзию большой временной протяженности. Тоскливый девичий голос умолк всего на несколько секунд и поднялся снова в вышину осеннего неба, заливая холодное пространство неизбывной болью и пронзительной мольбой не о счастье даже, а хотя бы о простом успокоении:

— Научи, родная мать,
Как мне дальше жить?
Или сердцу бедному
Помоги забыть...

Сознание Чернышова как бы остановилось. Он надеялся, что песня даст ответ на его мучительные вопросы, а она, снова возникнув, никаких ответов не дала, а только еще больше сдавила сердце от обостренного сознания — так же вот мучилась тогда Маша! Так же мучилась и так же умоляла: помоги, помоги, чтобы мне хоть чуточку полегче было!

Чернышов долго, как ему казалось, лежал бездумно, без всякого движения. И ему не хотелось шевелиться, он боялся теперь думать о чем-то, ибо в уставшем мозгу гудела такая же боль, как в те минуты, когда он стоял на коленях в белой больничной палате перед Машиной кроватью. Но в мозгу все-таки шевелилось: отношения людей никогда не были простыми и легкими, всегда были, есть и будут покинутые, оставленные. Значит, такая вот боль, боль неразделенной любви извечна, потому народ и складывает о ней песни. Но как же все-таки эта боль преодолевается? Маша вот Дмитренко тоже ее преодолела, открылись ей все радости жизни, и она сейчас счастлива. Что же там песня, дает хоть на это ответ?

Ответ песня дала. Он был настолько прост, что Чернышов, прославленный писатель, которого критики называли мудрым диалектиком, постигшим философию жизни двадцатого столетия, наделенный толкователями литературы правом исследовать и отображать подлинную духовность человека, ну, и как говорится, и так

далее, стремительно поднялся и долго сидел на копне пахучей соломы теперь по-настоящему оглушенный. В голове звенел и звенел тот же голос, но теперь наполненный не безысходной тоской и болью, а просто грустью и сожалением о несложившейся судьбе, о несбывшемся счастье:

— Боль такую, дочь моя,
Не заморозить.
Как сумела полюбить,
Так сумей забыть.

«Как же просто! И как все ясно,— думал и думал Чернышов,— «как сумела полюбить, так сумей забыть». Сердце от тоски разрывается только у некоторых птиц, говорят. У людей оно выдерживает, после всех таких переживаний и терзаний, иногда неконтролируемых поступков, как это было с той же Машей Дмитренко, человек становится мудрее, спокойнее, сильнее, хотя, может быть, что-то теряет в своем жизненном потенциале он сам или его потомство. И в песне ведь слышится грусть и сожаление не о несбывшемся счастье, а о несложившейся судьбе. Песня оставляет надежду и даже рождает уверенность, что со временем все переменится, придет к обиженной жизнью девчонке новая любовь, определит и сложит ее женскую судьбу. Ах, боже мой, почему он, Чернышов, не композитор, какое он мог бы сейчас создать симфоническое произведение! Он еще где-то в прологе, где-то в самом начале сочинения отчетливо выразил бы предощущение грядущей сердечной боли, ожидающей неразумное человечество, постепенно давал бы картины развивающейся жизни, вводил бы на фоне душевных страданий людей мотивы развития их высокой духовности, которая помогает справляться со всякими трудностями, в том числе и с сердечными страданиями, а в финале, как в этой вот песне, мощно зазвучала бы тема счастья, которое пока не наступило, не наступит! Конечно, можно эту тему решить и в литературном произведении, написать, скажем, еще одну повесть, которую станет хвалить и Сеня Куприк и официальная критика, но все это будет не то, не то... Почему, почему он не композитор?!

Композитором Валентин Чернышов не был.

9

Возвращались с Борисенковых прудов молча, Чернышов был ммур, в машине не проронил ни одного слова, промолчал и на обеспокоенный вопрос Сапожникова: «Что с тобой, заболел, может?» — лишь махнул

рукой — ничего, мол, так, хандра напала. Он отказался заехать на чашку чая к Сапожниковым, попросил отвезти его прямо в гостиницу и там, выйдя из машины, сказал Леониду Гавриловичу:

— Писатель, он всегда болен. Всегда... Извини, я пойду к себе.— И действительно болезненно улыбнулся: — Как выздоровею — дам о себе знать.

Потом он два дня сидел, запершись в номере, выходил только в буфет, где, впрочем, кроме жидкого чая, прокишшего овощного салата, консервов да каких-то приторно сладких лепешек, ничего не было. Руководство района попыталось было соблазнить по телефону отдохновением на лоне природы, но Чернышов сердито отказался: «Давайте как-нибудь потом с отдохновением, поскольку... пришло ко мне вдохновение». — «Понятно. Работаете?» — «Да, решил поработать». — «Понятно, понятно. Не будем мешать...»

И не мешали. Чернышов часами лежал на жесткой и скрипучей гостиничной кровати, смотрел в потолок, в ушах его все звучало и звучало:

— Боль такую, дочь моя,
Не заморозить.
Как сумела полюбить,
Так сумей забыть.

Все просто, как мрак и свет, как огонь и вода, как лето и зима... И он, Чернышов, все это знает лучше, чем многие и многие другие, он сам не раз в своих повестях писал об оскорбленном, униженном, поруганном и так далее чувстве и женщин и мужчин. Так чем же, чем так ошеломил его этот обыкновенный жизненный случай, рассказанный в песне? Сходством с жизненной историей Маши Дмитренко? Но ведь, собственно, то же самое произошло и с Анной Карениной (на что указывал Сеня Куприк, мелькнуло почему-то у Чернышова), и с пушкинской Татьяной, и... да мало ли еще с кем. Все это повторялось в жизни миллиарды и миллиарды раз и неисчислимо будет повторяться в будущем. И так же неисчислимо количество раз будет отражаться в литературе, искусстве, ибо эта человеческая драма действительно извечна. «Извечна!» — мысленно воскликнул Чернышов и быстро поднялся с кровати, взволнованный еще неизвестно чем.

Он подошел к окну, долго стоял и глядел, как сентябрьский ветер качал в палисаднике прутья кустов с какими-то мелкими и круглыми листьями, сильно тронутыми желтизной, похожими на медные копейки. Листочки беспомощно и обреченно трепетали на ветках, а когда ветер всхлестывал порезче, листья сыпались на землю

горстями, и Чернышову казалось, что это в самом деле мелкие монеты и что, падая, они звенят, как медная мелочь. Он долго глядел через стекло на обсыпавшийся под ветром кустарник и снова думал, что в песне рассказана извечная, знакомая каждому и потому привычная человеческая драма, но если расшифровать не только слова, но и мелодию, голос неведомой певицы, — то захлебывающийся от счастья, то рвущийся от тоски и горя, то взлетающий в немыслимую и необъятную высь, то разбивающийся о жесткую и тесную землю, — а главное, если расшифровать все те чувства, которые испытывали сама певица и неисчислимое количество людей, слышавших песню, что же тогда будет?! А тогда и будет, что эта простая и бесхитростная народная песня вобрала в себя всю историю человечества...

Кто-то из знаменитых художников, кажется, Маковский, сказал, что народ творит веками, веками, к примеру, создавались нехитрые русские узоры. Потому-то, думал Чернышов, всякий рисунок этих узоров совершенен, каждый завиток имеет смысл и вместе с другими создает художественно-эстетический шедевр, полную гармонию прекрасного. И вот эта песня — тоже как народный узор, в ней, казалось ему, нельзя изменить ни одного слова, ни одной нотки, иначе все рухнет, пропадет, произведения высокого искусства уже не будет.

Чернышов оттолкнулся от окна, сделал несколько шагов по гостиничной комнате, остановился, сильно потер ладонями лицо, будто желая стереть смертельную усталость. Потом опустился в затертое кресло, пружины его неприятно заскрипели. Откинулся на спинку. Да, именно всю историю человечества вобрала в себя эта услышанная им песня. С теми чувствами, которые в ней выражены, люди живут, старятся, умирают... И так из века в век, из века в век. Ах, как это не просто — день и ночь, огонь и вода, добро и зло... Где-то посредине этих понятий, наверное, и находится самое разумное начало, способствующее горению жизни, оберегающее ее от угасания. «Как сумела полюбить, так сумеи забыть...» Это ведь тоже спасительная середина. До чего же все-таки народ мудрый! Чернышов тысячи раз слышал — народная мудрость, народная мудрость, но никогда всерьез как-то не задумывался, а что это, собственно, значит, в чем она, эта мудрость? И вот сейчас впервые ощутил, что начинает понимать это, и не сознанием, не умом, а чутьем, что ли... И, холодея при мысли, что его-то собственные сочинения о жизни, которые столь невысоко ценят Маша и Леонид Сапожниковы, наверное, и в самом деле жалки, и беспомощны, и никудашны. Тот же Маковский писал, что из простых народных песен в несколько тактов расцвели кружевные симфонии Римского-Корсакова, изысканные, нежные

романсы Чайковского. Увы, он, Чернышов, до сих пор этих песенных тактов не слышал, хотя они, конечно, постоянно звучали вокруг, поэтому... поэтому-то его творчество никак не расцвело, не волнует людей. Значит, его произведения никому не нужны, кроме Сени Куприка и его знакомых критиков. «А впрочем, нужны ли они им? Нужны ли они даже им?!»

10

Уезжал он из родного села тусклым и дождливым утром. Станционные строения были мокрыми, унылыми, кирпичный вокзальчик тоскливо смотрел черными окнами на блестящие под дождем рельсовые пути, проложенные мимо него на запад и на восток.

Провожали Чернышова только Сапожниковы, никто из руководства района даже не знал, что он уезжает, так захотел сам Валентин Михайлович. Они втроем молча стояли на мокром перроне под накрапывающим осенним дождем. Бесперывно похлестывал холодный ветер. До поезда было еще четверть часа, Сапожников предложил укрыться от дождя и ветра в зале ожидания вокзала. В ответ Чернышов сказал странную фразу:

— Если я войду туда... в это здание со слепыми окнами, я оттуда уже никогда не выйду.

Леонид Гаврилович и Мария Ивановна поглядели на него с удивлением и тревогой, но он, усмехнувшись, успокоил их:

— Вы не волнуйтесь, я не спятил пока. Просто я иногда боюсь каких-то мест на земле, зданий, каких-то людей...

Потом опять молча топтались на мокром асфальте, Сапожниковы чувствовали себя неловко, но о чем говорить — не знали.

И лишь когда застучал на стыках рельсов приближающийся поезд, Сапожников проговорил:

— Ну что ж, Валентин... Когда тебя снова к нам ждать?

На это Чернышов промолчал, только почему-то вздохнул.

— А главное, будем с нетерпением ждать твои новые произведения, — сказал Сапожников.

Чернышов быстро вскинул на Леонида Гавриловича воспаленные от бессонницы глаза и тут же опустил их.

— Чего уж там ждать... Немного доставят они вам радости.

Молчавшая до сих пор Мария Ивановна произнесла:

— Доставят, Валя. Твой талант еще не раскрылся. У меня всегда... всегда возникает такое чувство, когда я читаю тебя. Но ты обязательно...

Он вскинул и на нее воспаленные глаза точно так же, как перед

этим на Сапожникова — торопливо и будто испуганно, — и она умолкла на полуслове. А он глухо промолвил:

— Когда уже теперь раскрываться ему? Поздно...

— Почему поздно? Не поздно! — возразила она горячо и торопливо, будто боясь, что он не даст ей договорить. — Ты в такой поре... В самой-самой творческой.

— Да? — спросил он, и голос его прозвучал не то печально, не то иронически по отношению к себе.

— Ты столько знаешь... Столько повидал всего! — восторженно продолжала Маша. — Ты чуть не весь мир изъездил!

— Что ж из того? — опять глядя себе под ноги, произнес Чернышов.

— Да ведь... жизненный опыт писателя... вообще всякого художника состоит из наблюдений над жизнью и, конечно, из понимания этой жизни. И к тебе это понимание придет...

Леонид Гаврилович Сапожников неловко кашлянул, Мария Ивановна осеклась, Чернышов стал медленно и тяжело поднимать распухшие от бессонницы веки. И она, глядя в его глаза, наполненные обидой и болью, по инерции произнесла виновато и тихо:

— Ага, придет...

— Н-ну... спасибо, — оскорбленно сказал он.

— Ты прости меня... Прости, — встрепенулась она, но Чернышов повернулся к ней и Леониду Гавриловичу спиной и так стоял, сгорбившись, пока подошедший состав из зеленых вагонов не остановился. Так и не взглянув больше на Сапожниковых, он шагнул в открывшуюся дверь вагона и скрылся в его глубине.

Почти весь день потом, до самого вечера, Чернышов недвижимо просидел в своем двухместном купе, равнодушно глядя через грязные стекла вагонного окна на мелькающие телеграфные столбы, путевые постройки, на проплывающие назад поля, холмы, перелески, деревушки, деревни, города. Там, в этих строениях, полях, лесах, деревнях и городах, шла какая-то своя жизнь, она пролетала мимо, мимо. За дверью его купе раздавались голоса, вспыхивал порой смех, на остановках по проходу топали люди, слышно было, как они тащили чемоданы, отыскивали свои места, стучали вагонными дверьми. Но все это его не задевало, не интересовало. Он не любил, чтобы в купе ехал кто-то еще, кроме него, заплатил за оба места и знал, что до самого конца, вплоть до Москвы, его никто не потревожит. Беспокоил его лишь стук вагонных колес, которые без конца выговаривали: «Так су-мей за-быть... Так су-мей за-быть...»

Этот колесный говор все сильнее раздражал Чернышова, он слышал его и ночью, раз двадцать просыпался, яростный от бессилия унять перестук вагонных колес. Но к утру как-то успокоился и, глядя в вагонную темноту, стал думать, что обиделся он на Машу Дмитренко

зря, ведь она сказала ему правду. Ту правду, которую, как ни крути, он знал, да старался не думать об этом, ибо боялся признаться в ней самому себе. Жизнь он, конечно, в какой-то мере понимал. Понимал, что она развивается по классовым законам, что в глубинах народных недр происходят сложнейшие социально-исторические процессы, постоянно вызревают нравственные конфликты, а в ходе их разрешения рождаются новые человеческие типы и характеры. Исследовать и отображать все это и призван в меру своих сил всякий художник, в том числе и он, Валентин Чернышов, но в его повестях, увы, такого не случается. И далеко не первой ему об этом сказала Мария Ивановна Сапожникова, бывшая Маша Дмитренко. Потому-то давненько писатель Валентин Чернышов не жалуется читательских встреч, избегает их, ибо нет-нет да люди и намекают ему об этом, а то и прямо скажут. До сих пор горько памятен для него случай на машиностроительном заводе. Лет пять или шесть минуло уже с того дня, а вихрастый парнишка в зеленой спецовке все стоит перед глазами. Литературная встреча была подготовлена Сеней Куприком, происходила она в обеденный перерыв в красном уголке одного из цехов и уже благополучно заканчивалась, когда встал этот паренек и, смущаясь, вежливо спросил: «А можно вас, Валентин Михайлович, покритиковать? А то все вот тут хвалили вас...» — «Валяйте,— добродушно улыбнулся Чернышов.— А как вас звать, кем работаете?» — «Да звать Петей,— почти по-детски сказал он,— токарь я по специальности». — «Очень хорошо. Давай, Петя, критикуй»,— еще раз улыбнулся Чернышов, довольный даже таким поворотом, ибо разговор до этого шел какой-то унылый, холодный, очень уж казенный.

Но в благодушном состоянии Чернышов пробыл совсем немного, еще несколько секунд, и опомнился уже за проходной завода, выскочив оттуда как ошпаренный. Этот Петя-токарь, вежливо попросивший разрешения покритиковать его, провел ладошкой по своим вихрам и заговорил, не выказывая теперь и капли смущения: «Вы знаете, Валентин Михайлович, я очень люблю творчество Алексея Николаевича Толстого. И вот как раз вчера я читал его статьи, публицистику. И натолкнулся на одну мысль, которая меня поразила. Зная, что у нас предстоит встреча с вами, я захватил с собой эту книжку Толстого». — «Ну-ка, ну-ка, что там за мысль, которая так тебя поразила?» — в третий и последний раз улыбнулся Чернышов. «Да вот, я читаю,— и парнишка раскрыл книгу, отчетливо выговаривая слова, прочел: — «Как это ни странно, у нас есть литераторы, и даже известные, которые предпочитают писать без дерзости, без риска, серо, нивелированно, скучновато, и главное — около жизни, не сунув нос в этот кипяток, в жизнь».

Присутствующие в красном уголке замерли, Сеня Куприк, сидевший за столом рядом с ним, Чернышовым, завертел головой на короткой шее, будто ему жал воротник, а сам Чернышов, уже чувствуя, что невзрачный парнишка этими несколькими словами развернул перед ним пропасть, невольно произнес, сталкивая сам себя вниз: «Да, есть у нас, к сожалению, такие писатели». — «Вы уж извините, Валентин Михайлович, но ведь вы — один из таких», — совершенно оглушил его Петя-токарь.

В красном уголке стояла теперь такая мертвая тишина, что мертвее и не бывает. Она стояла, казалось Чернышову, долго-долго, ее надо было нарушить, но сделать это никому было не под силу. Эти силы нашел лишь он сам и, кашлянув, уронил: «Очень уж ты, Петя, безжалостен ко мне... И потом, надо же такое обвинение еще доказать». — «Можно и доказать, — спокойно сказал паренек. — Вы не исследуете в ваших повестях истинную природу человеческих конфликтов, их причинность, их социальную суть. Я все повести ваши прочел, давайте разберем любую, и я вам докажу сейчас, что вы не понимаете нашей жизни. А не понимаете потому, что не любите ее...» Чернышов был взбешен такими словами, он полагал почему-то, что всему этому молодого токаря просто кто-то научил, сдерживая свой гнев, глухо сказал: «Что же, давайте разберем. И я постараюсь доказать, что не только нравственные, психологические, но и социально-исторические обоснования изображаемых мною характеров и событий в моих произведениях присутствуют...»

На этом бы надо тогда остановиться, приступить к конкретному разбору повестей, и, конечно, начитанного, видимо, но неопытного в литературных разговорах парнишку он скорее всего забил бы, но Чернышов имел неосторожность к сказанному выше добавить: «В этом, кстати, убеждена вся наша критика». Тут-то и взвился его неожиданный оппонент: «Критика убеждена?! И вы ей верите? Да, я читал в газетах и журналах, как вас хвалят, Чернышов, мол, своими образами выражает общечеловеческое, философское содержание жизни, что судьбы героев постигаются автором как момент вечности... Ложь!» — «Даже?!» — бросил Чернышов. — «Да, ложь! Ваши герои никогда ведь не задумываются об истории, о прошлом, о будущем народа, они не анализируют настоящее, у них нет самоубеждений в правоте или неправоте содеянного. Ну вот кто-нибудь из ваших героев когда-нибудь спросил себя — кто я, зачем я на земле? Не спросил... А критики ваши говорят... Много вреда они вам приносят, эти ваши критики. Не верьте им, они говорят вам неправду. Не верьте!» — закончил парень под такие аплодисменты, что возразить ему и вести дальше какой-то разговор было уже невозможно, и он, Чернышов, только через силу улыбнулся. Он старался, чтобы улыбка

его была снисходительной, а на самом деле она была жалко-виноватой.

«Не переживайте, Валенька, — сказал Сеня Куприк по дороге домой. — Это же демагог... Из молодых, да ранний, как говорится. Вырастили мы разных...» Слова эти вызвали раздражение, Чернышов зло бросил: «А если это правда?!» Куприк Сеня быстро поднял на него испуганные глаза, но не возразил, ничего больше не сказал.

Этот случай на машиностроительном заводе Чернышов переживал очень болезненно, на несколько недель изолировал себя от всего мира, жене сказал, чтобы она на телефонные звонки всем, в том числе и Сене Куприку, отвечала, что его дома нет, он уехал куда-то в свою Сибирь. В это время как раз была опубликована его очередная повесть под названием «Обманутые», посвященная жизни так называемых маленьких людей. Он вчитывался в собственные строчки, анализировал весь ряд художественных образов и приходил в ужас — ведь Петя-токарь прав, прав, написано без дерзости, без риска, по рецептам Сени Куприка. Героиня повести, телефонистка городского коммутатора, страдает от неразделенной любви и, беременная, уезжает от позора в глушь, в один из районов Нечерноземья, но ребенок рождается мертвым, а она дает через подругу знать бывшему возлюбленному, по профессии строителю, что у нее родился сын, который растет помаленьку. У строителя возникают отцовские чувства, возвращается прежняя любовь, но когда он неожиданно-негаданно появляется в районном городке, где живет его бывшая любовь, та устроила уже свою судьбу с другим. И тут-то для всех троих начинается драма — у нее возникает раскаяние в содеянном да плюс обнаруживается старая любовь, но оба мужчины, обманутые в лучших своих душевных устремлениях, отворачиваются от нее. Чернышов, перечитывая свою вещь, уныло думал, что его герои действительно бескрылые, никто из них не задумывается, как говорится, о времени и о себе, у них нет никаких противоречивых оценок тех или иных событий. Все это происходило в начале семидесятых годов двадцатого века, но могло с таким же успехом произойти и в пятидесятых, и до войны, и даже до революции. Когда он, Чернышов, поделился с Куприком этим замыслом, тот аж подпрыгнул от восторга: «Валенька! Маленькие люди, а накал страстей как у Шекспира! Только — куда, куда твоя героиня уезжает? В Сибирь? Это ты брось. Пусть едет в Нечерноземье. Актуальная местность!» — «Но... если бы я собирался поднять и исследовать в повести какие-то проблемы, связанные с Нечерноземьем... тогда бы можно говорить об актуальности», — попробовал возразить Чернышов. «Ну, и так много грехов простится... А главное — драма-то какая в конце тобой придумана!

Твоя героиня — маленький человек, а чувства у нее поглубже, чем у Анны Карениной! И назови вещь — «Обманутые». Кто, кем, как? То-то и оно, пусть читатель голову ломает, тут для него — крючок!»

Так говорил Сеня Куприк, но вот повесть написана, опубликована, и Чернышов увидел всю ее убогость. Какая там драма, какая Анна Каренина — все мелко, примитивно, в лучшем случае банально. Прав, прав Петя-токарь...

Но однажды в квартиру ворвался возбужденный Сеня Куприк, бросил на стол ворох газет, буквально заорал: «Где он, наш с вами герой, Ниночка? Вы кому-нибудь скажите, что Чернышов в Сибири, а не Куприку. Я его запах по телефону слышал... Ну-с, вот, смотрите, Ниночка, как бушует критика по поводу очередного шедевра вашего мужа. А то Петя-токарь! Много ему дано понять! Пусть свои железки точит...»

Чернышов, небритый, в халате, вышел в гостиную, стал молча смотреть газеты. В статьях мелькали привычные формулировки: «поэма о смысле человеческой жизни», «волнующее исследование потаенных глубин человеческого духа», «беспредельная любовь писателя к людям, к Отчизне» и даже — «значительный вклад в духовную жизнь народа» и т. д. и т. п. И странное дело — он не очень-то вроде всем этим словам верил или не хотел верить, но они успокаивали, согревали, умиротворяли его, и где-то на краю сознания шевелилось, что, может быть, Сеня Куприк и прав, демагог тот Петя-токарь, даже скорее всего прав Сеня, да и сам он, Чернышов, верно определил тогда, что кто-то поднатаскал, подготовил этого парня к выступлению, а истина-то о его произведениях — вот она, здесь, в оценках его труда квалифицированными людьми... И на смятом, угрюмом его лице сквозь грязную многодневную щетину стало проявляться нечто вроде улыбки. «Ну вот, а вы, Валенька, в единоличничество впали», — весело проговорил Сеня.

Хвалебные статьи по поводу его последней повести совсем почти заглушили неприятные воспоминания о злополучной читательской встрече на машиностроительном заводе, настроение его улучшилось, портить он его не хотел.

Вагонное окно начало светлеть, за мутно-синим стеклом мелькали неясные еще очертания электрических и телеграфных опор, деревьев, иногда каких-то сооружений, и Чернышов ощутил, как поезд неудержимо мчится мимо перелесков и полей, городов и селений, он физически почувствовал, как сам он стремительно летит сквозь бесконечное пространство огромной страны, в которой живет. И вспомнилось вдруг почему-то дермонтовское:

...Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень...

Мысленное сравнение этой самой телеги с могучим поездом, упрямо подминающим пространство, невольно вызвало у Чернышова улыбку: как изменилась жизнь! Но улыбка эта, не успев полностью проявиться, тут же исчезла. Жизнь изменилась, но постоянны, вечны чувства человеческие, например, эта вот всепоглощающая любовь к Отчизне, к Родине, которую так пронзительно выразил поэт тогда... давно, давно, почти сто пятьдесят лет назад. И непонятно — слова употребил обычные и прием использовал обыкновенный — взял да и прямо сказал, что любит, за что и сам не знает, степей холодное молчанье, лесов безбрежных колыханье, дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз... А у читателя сердце щемит. А вот он, Валентин Чернышов, тоже любит жизнь, родную землю, старается выразить эту любовь в своих произведениях, но... Чернышов опять усмехнулся, теперь горько и печально. Знаменитый критик пишет о его «беспредельной любви к людям, к Отчизне», а Петя-токарь прямо в лицо бросает: «Вы не понимаете нашей жизни. А не понимаете потому, что не любите ее». И еще, как это там: «...не суя нос в этот кипятилок, в жизнь». Ну да, вот он даже за второе место в купе заплатил, чтобы рядом никого не было... И жизнь, пролетающая за вагонным окном, его не волнует, не тревожит. И то, что великий Дон в верховьях катастрофически обмелел, что родная речка Белоярка пересохла, исчезла, его, говоря по совести, не очень взволновало, так, поговорил об этом с Сапожниковыми, как говорится, для авторитета. Как для авторитета же писал статьи о неразумном хозяйствовании людей на земле. Ах, боже мой, да ведь если отбросить прочь самолюбие, если найти в себе силы заглянуть правде в глаза... правде в глаза...

А вагонные колеса все стучали и стучали беспрерывно: «Так сумей за-быть... Так сумей за-быть...»

11

И еще одну ночь Чернышов провел почти без сна. К Москве он подъезжал похudevшим и опустошенным от своих дум. Ах, Сеня, с ним всегда было удобно и надежно, в любую минуту он готов был прийти на помощь, разрешить затруднения, устроить дела. Но теперь — все, теперь он, Валентин Чернышов, будет жить своим умом. Сегодня вот Сеня Куприк будет встречать его на Ярославском вокзале. Чернышов не сообщал ему о приезде, но это ничего не значит, Сеня,

конечно, сто раз уже звонил в Белоярку, вызнал и поезд и вагон, и встретит его на перроне с цветами, а потом потащит в привокзальный ресторан, где по обыкновению и выложит кучу приятных известий — когда и что о нем, Чернышове, в его отсутствие писали и говорили, где намечаются новые издания его книг. Но на этот раз он ни в какой ресторан не пойдет. Более того, сразу же даст понять Сене Куприку, что он, Чернышов, уехал одним, а вернулся другим, что к старому образу жизни и образу мыслей возврата нет, что он понял... понял... А что понял? Что в своем творчестве он скользил только по поверхности, а в глубины народной жизни заглядывать боялся? Да, так, так. И в этом смысле он, Чернышов, к своему дарованию, к своему таланту отнесся несерьезно, безответственно. Только как вот, какими словами все это Сене сказать? Да так, наверное, прямо надо и сказать. Более того... более того, раз уж начинать жизнь с обновления, — надо прямо в лицо давнему другу своему заявить, что он, Чернышов, раз и навсегда решил освободиться от его опеки, стать самим собой...

«Стать са-мим со-бой... Стать са-мим со-бой», — принялись выговаривать теперь вагонные колеса. Каждый звук пронзительной болью отдавался в голове, будто по ней ударяли чем-то тяжелым. Да, пришла пора стать самим собой. Жаль, что так поздно, но хорошо, что пришла. Кажется, Тургенев сказал, что в каждой человеческой жизни есть мгновения перелома, в эти мгновения прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Для него такое мгновение наступило в тот момент, когда он лежал на копне соломы и слушал песню о несбывшейся человеческой любви. Собственно говоря, эта песня и о нем... и о его несбывшейся любви. Как это сказал вихрастый Петя-токарь? «Вы не понимаете нашей жизни, а не понимаете потому, что не любите ее...» Вот оно! Вот оно... Да, надо убрать Сеню Куприка, добрейшего человека, со своего пути, чтобы он никогда больше перед ним не появлялся. Конечно, сделать это будет не так-то просто, надо найти в себе смелость, немалое мужество...

Подумав так, Чернышов усмехнулся: какое уж там особое мужество надо для этого! Русские литераторы никогда не боялись постоять за свободу выражения своих мыслей и чувств, не боялись дерзко бросить в лицо своим угнетателям стихи, облитые горечью и злостью. А тут всего-навсего Сеня Куприк.

Поезд меж тем подходил к Москве. Он заметно сбавил ход, за вагонным окном проплывали тихие, поредевшие сейчас подмосковные рощи, бесконечные дачные поселки.

Чернышов, давно собрав свой чемодан, стоял теперь в коридоре, смотрел на желтые деревья, на пламенеющие кусты рябины в дачных палисадниках и думал, что так-то оно так, мужества русским

литераторам было не занимать, но ведь тут дело другое, Сеня Куприк — давний друг, с ним съеден не один пуд соли, он, что бы там ни говорить, первый оценил его... талант, первый протянул ему руку помощи и до сих пор, до сих пор... Нет, порвать с ним так резко, сразу — невозможно. Может быть, сделать так... сделать вид, что ничего с ним, Чернышовым, не произошло, все как было, так и осталось, и в привокзальный ресторан с Сеней сходить, а потом все реже встречаться с ним, под различными предлогами от контактов с ним уклоняться и, наконец, совсем освободиться от его дружбы...

Когда вагонные колеса застучали на входных стрелках, в голове у Чернышова лихорадочно металось: ну, освобожусь, а что дальше? Сумею ли создать хоть одно из таких произведений, которых ждут те же Леонид и Маша Сапожниковы? В памяти всплывали слова Марии Ивановны: «Жизненный опыт художника состоит из наблюдений над жизнью... из понимания этой жизни. И к тебе это понимание придет». А если не придет? Да и нужно ли оно теперь ему, это понимание? Если даже он и сумеет писать такие книги, какие необходимы Леониду с Машей и тому вихрастому Пете-токарю, Сеня Куприк — Чернышов это не только чувствует, но и знает — останется к ним равнодушным и холодным. А это значит, это значит...

...Десять минут спустя Чернышов и Сеня Куприк сидели в гулком, как пустой сарай, неопрятном привокзальном ресторане. Столик, заблаговременно заказанный Куприком, ломился от обильных закусок.

— Ну, Сенечка... Как я скучал там, в Сибири, без тебя! Как я рад, что ты встретил! Первую рюмку, Сеня, давай, как всегда, поднимем за нашу с тобой давнюю и прекрасную дружбу, над которой не властны ни злые люди, ни безжалостное время, уничтожающее даже египетские пирамиды!

Так говорил Валентин Михайлович Чернышов, известнейший на всю страну писатель, давным-давно удостоенный всех возможных почетных званий, государственных наград и премий.

Анатолий Степанович ИВАНОВ
ПОВЕСТЬ О НЕСБЫВШЕЙСЯ ЛЮБВИ

Редактор Е. Ф. О л е й н и к
Технический редактор
О. Н. Л а с т о ч к и н а

Сдано в набор 06.12.83.
Подписано к печати 26.01.84. А 00312. Формат
70×108^{1/32}. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд.
л. 3,08. Тираж 100 000. Изд. № 1004.
Зак. № 1852. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени
В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

ЛОТЕРЕЯ «СПРИНТ»

Главный выигрыш—автомобиль «Волга».

В числе выигрышей—денежные суммы от одного до пяти тысяч рублей, а также автомобили и мотоциклы различных марок.

В специальных выпусках разыгрываются денежные выигрыши от трех до 10 000 рублей, 20 автомобилей, в том числе две «Волги».

В серии, состоящей из двух миллионов билетов, свыше 400 000 выигрышей.

Результат можно узнать сразу. Размеры денежных и наименования вещевых выигрышей указаны на билетах, запечатанных в конверты.

Доходы лотереи «Спринт» направляются на развитие физкультуры и спорта, главным образом на спортивное строительство, на организацию физкультурно-массовых мероприятий.

Билеты спортивной денежно-вещевой лотереи «Спринт» продаются в киосках «Спортлото».

Желаем удачи!

**Главное управление спортивных
лотерей Спорткомитета СССР**